

серия "Новое имя"

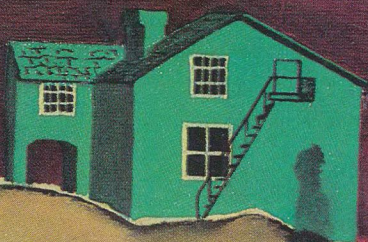


Пер Улов
Энквист



БИБЛИОТЕКА
КАПИТАНА

НЕМО



БИБЛИОТЕКА КАПИТАНА НЕМО

Пер Улов Энквист

серия "Новое имя"





Per Olov Enquist
KAPTÉN NEMOS BIBLIOTEK

ROMAN

Norstedts
1991

серия "Новое имя"



Пер Улов Энквист
БИБЛИОТЕКА
КАПИТАНА НЕМО

РОМАН

Перевод с шведского А. Афиногеновой



Москва
А/О Издательство «Радуга»
1994

ББК 84.4Ш
Э61

Предисловие *Н. Колобкова*
Перевод *А. Афиногеновой*
Редактор *М. Семченкова*

Энквист Пер Улов
Э61 **БИБЛИОТЕКА КАПИТАНА НЕМО: Роман**
/Пер. с швед. А. Афиногеновой; Предисл. Н. Колоб-
кова. — М.: А/О Издательство «Радуга», 1994. —
192 с. — (Новое имя)

Предлагаемый вниманию читателей роман одного из крупнейших писателей современной Швеции Пера Улова Энквиста (род. в 1934 г.) рассматривает вопросы, которые занимали человеческий ум во все времена: что есть человек, каков он и каково его предназначение здесь, на Земле. Действие в «Библиотеке капитана Немо» развивается как бы на трех уровнях: в собственно событийную канву произведения, где главный герой рассказывает о себе, своем детстве, о людях, окружавших его и разделивших вместе с ним его горькую судьбу, вплетаются библейские сюжеты и элементы фантастики.

Э $\frac{4703010100-004}{030(03)-94}$ без объявления

ISBN 91-1-911332-3

ISBN 5-05-004222-4

©Per Olov Enquist 1991

©Предисловие, перевод на русский язык и художественное оформление А/О Издательство «Радуга», 1994

Свести воедино

Работая над предисловием к русскому переводу романа «Библиотека капитана Немо» (1991) одного из наиболее известных современных шведских писателей и драматургов Пера Улова Энквиста, я старался представить себе будущего его читателя. Столько людей, и все они очень разные. Большинство (а может быть, теперь только многие?) из них любят читать. Читают то, что читают все, или то, что посоветовали, или просто на прилавке что-то приглянулось. И бывает иногда, что происходит встреча с серьезной книгой, вроде той, что сейчас у вас в руках, и с серьезной литературой.

О чем мы думаем, прежде чем открыть книгу? Что нас волнует? Какими вопросами задаемся? Если эти вопросы рождены тяжелыми раздумьями о смысле человеческого существования (есть ли он, а если есть, то где его искать — в себе или в чем-то еще), или размышлениями о счастье (что-то не видно особенно счастливых людей, а может, вам повезло больше?), или — еще проще — мыслями о том, как жить дальше (опять же не о хлебе насущном только речь), тогда — серьезно говорю вам — вы не разочаруетесь, взяв за труд прочитать оказавшийся у вас в руках роман до конца. Не ожидайте готовых ответов. Истинное искусство (как и сама жизнь) этого не предусматривает. Но эмоциональное потрясение переживете. «Я придерживаюсь того мнения, что вначале делались вещи и совершались события и только гораздо позже кто-то спрашивал, почему они делались и совершались», — писал К. Г. Юнг. Чтобы люди просну-

лись и задумались о том, что делают, подчеркивал он же, нужен «шок сходного эмоционального опыта».

Пер Улов Энквист родился в 1934 году в северной части Швеции (Вестерботтене), удаленной от Стокгольма более чем на тысячу километров, в краю — так принято писать — своеобразно красивой и суровой природы. Эта природа сформировала прозаика и столь же естественно вошла в его внутренний мир, как ее описания органично наполнили страницы его произведений. «На березах еще кое-где остались желтые листья, но ночью прошел снег, и казалось, будто снег прилег отдохнуть на желтые листья, нежно, точно смертным поцелуем, лаская их. Это короткое, вполне обыденное мгновение всегда причиняло легкую боль: то была самая прекрасная — и грозная — пора осени. На следующий день снег исчезал, а с ним исчезали и листья» — таково живое дыхание прозы Энквиста.

В 1964 году, уже после окончания Упсальского университета, когда увидел свет роман «Пятая зима магнетизера» — увлекательная история (и печальная, конечно) о взлетах и падениях экстрасенса (как сейчас говорят) Фридриха Мейснера, жившего в XVIII веке, — на Энквиста обратили внимание как на многообещающего писателя.

Его известность перешагнула границы Швеции после выхода романа «Легионеры» (1968), затронувшего болезненный вопрос о выдаче шведским правительством Советскому Союзу выходцев из Прибалтики, воевавших на стороне фашистской Германии, что вызвало тогда, в 1946 году, волну протестов в стране и за ее пределами.

В романе «Марш музыкантов» (1978) Энквист обращается к родным местам, необычно и интересно рассказывает о том, как тяжело и трудно проходило здесь становление рабочего движения в начале XX века. Именно в этой книге ярко проявились особенности его творческой манеры: сочетание документальности и вымысла (вообще типологическая черта шведской литературы этого периода), использование в символическом преломлении наиболее четко отложившихся в памяти образов детства, ключевых слов, фрагментарное построение, а также использование другого произведения (в данном случае

сказки «Бременские музыканты») в качестве рамочной конструкции, внутри которой разворачивается собственно событийно-содержательная часть романа. Эти же особенности, реализованные еще более последовательно и органично, определили успех книги «Библиотека капитана Немо».

Обращение Энквиста к жанру драмы также принесло свои результаты. Три его пьесы: «Ночь трибад» (1975) — из жизни А. Стриндберга, «К Федре» (1980) и «Из жизни дождевых червей» (1981) — о Х. К. Андерсене, позднее — как семейные драмы — объединенные в триптих, трактуют вечную и во все времена актуальную (а сейчас, как утверждают, особенно) проблему взаимоотношений мужчины и женщины. Еще в конце прошлого века, пишет Энквист в рабочих заметках, прилагаемых к триптиху, А. Стриндберг высветил проблему семьи как одну из самых кричащих проблем капиталистического общества (увы, с горечью замечаем мы, не только его). Драматург на историческом материале решает вопросы вполне злободневные. Мы живем в обществе, говорит он, где все больше людей становятся ненужными. А сделать человека ненужным — это значит лишить его собственного достоинства и веры в себя. Если нет надежды, остается только ненавидеть жизнь.

Кажется, и не только теоретически, а исходя из многовекового опыта человечества (впрочем, зачем так далеко? — из нашего индивидуального), что верить и надеяться особенно не на что. Да нет. Вектор творчества Энквиста указывает прямо противоположное направление: выжить можно. Двигаясь неуклонно и настойчиво вперед, не боясь и не уходя от самого страшного — от тех страданий, которыми чревата современная действительность и которые, обрушиваясь на человека, приводят его на грань безумия, к более глубокому осмыслению себя и окружающего мира. Только тогда и удастся выжить — в поиске единства с собой и другими. А если сдашься — пропал.

Именно таков выстраданный вывод романа «Библиотека капитана Немо».

Давно известно — простите вольную аналогию, — что, когда заблудишься, ходишь по кругу, вновь и вновь

возвращаясь к тому же месту. В психологии это называют (там свои термины) господствующим очагом возбуждения. Да вы, пожалуй, сами замечали у современных писателей — а уж Энквист плоть от плоти своего времени! — что избегают они в хронотопе (пространственно-временной организации произведения) хронологической и пространственной последовательности изложения событий. Фрагменты, его образующие, точно вписаны (у Энквиста особенно, с указанием места, дат, даже часов) в пространство и время, а вот их компоновка обусловлена — иногда пишут — прихотливой, а на самом деле, видимо, единственно возможной для автора логикой его мысли.

Композиция романа «Библиотека капитана Немо» — центростремительное движение по кругу, образуемому основополагающей константой человеческого бытия: рождение — смерть и далее (для верующих — непреложно, а для остальных — с надеждой) — новое рождение (воскресение), многократно повторенное в мифологии и у писателей, склонных к мифотворчеству, — сводит все к главному вопросу: что есть человек? «Палач, жертва, предатель»? А может быть, и то, и другое, и третье? — размышляет вместе с героем автор.

Вокруг столь мучительных раздумий создается мощное поле притяжения из эпизодов — некоторые из них всплыли (своеобразные реминисценции) из других произведений, иногда как цитаты, а чаще видоизмененные, — выступающих в качестве подлинных, глубоких символов, указывающих на иные временные и содержательные горизонты, придающих описываемым событиям общечеловеческое измерение и свидетельствующих о единстве всего сущего. Введенные в текст слова-рефрены являются сигналами, отсылающими нас к ним.

Энквист придерживается современных представлений о многосоставности человеческой личности, определяемой ее сложной ролевой структурой — теми многочисленными ролями, которые каждый выполняет в жизни, — и подсознательными глубинными импульсами, находящимися между собой в противоречивых отношениях. Обусловленная этим изощренная структура романа — в нем условно можно выделить три слоя, — явля-

ясь своеобразным аналогом человеческой личности, служит раскрытию противоречивого внутреннего мира.

Первый слой — библейско-евангелический и вообще ритуально-мифологический. Христианские образы, воспринятые детским сознанием героя как образы родителей и старших, являются для него столь же естественными и земными, как, скажем, окружающая природа.

Бог, говорила ему мать, как отец, которого он, правда, не помнил, поскольку лишился его в шестимесячном возрасте. Он строгий и суровый. «Но надежда оставалась. Надежда — это Сын Человеческий. Он не такой сердитый, чуть ли не злобный, как сам Бог. Сын Человеческий пригож собою, всеобщий любимец, а в боку у него рана, из которой истекли кровь и вода и в которой, как в пещере, могли укрыться сквернавцы, прячась от врагов...

Иисус был заступником перед карающим Богом. Мне понадобились все мои детские годы, чтобы уразуметь, что у Сына Человеческого чаще всего не хватало времени. Очень редко, когда хватало...» и для нас, страждущих.

Опору и поддержку герой романа находит в своем Благодетеле — капитане Немо, который являлся ему по зову и направлял его. Эта линия — второй слой романа. Прочитанный в раннем детстве «Таинственный остров» становится для него сигналом. «Оставалось только расшифровать его. На это ушла почти вся жизнь, но в конце концов мне это удалось».

Родные места, побережье Нюланды, неизменно ассоциируются с реалиями Жюль Верна: «Остров находился на расстоянии шестнадцати морских миль к югу от побережья Нюланды; из дальних финских шхер можно было различить вершину вулкана. Иногда он курился...», но особенно притягательным оставался последний лагерь Благодетеля, который он разбил в центре вулкана Франклина. У того хватало времени для попавших на остров поселенцев, полуослепших, потерпевших крушение, тех, кто уже почти потерял веру в то, что они люди. Не то что Сын Человеческий. У того вечно не хватало времени. На Благодетеля можно было положиться.

«Там, в заполненном водой кратере вулкана, «Наути-

лус» встал на вечную стоянку. Судно мирно покачивалось в нутре вулкана, и там спрятался Юханнес (единственный друг героя. — *Н. К.*), чтобы в библиотеке найти себе укрытие». Туда наконец спускается и сам герой — в библиотеку капитана Немо, где, если вспомнить Ж. Верна, было собрано все лучшее, что создано человеческим гением в области истории, поэзии, художественной прозы и науки... Но там находились и дневниковые записи Юханнеса — документальная составляющая романа. И одновременно — такое толкование очевидно — герой спускается в глубины своего сознания, где вновь переживает свою жизнь, точнее, свое детство.

Этот третий, собственно событийный план придает драматический накал столь незаурядному произведению. Действие романа разворачивается в конце 30-х — начале 40-х годов на севере Швеции. В силу сложившихся роковых обстоятельств шестилетнего героя романа и его друга заставили поменяться родителями и домами. Происшедшее — скажет потом главный герой — долго вызывало во мне «резкую, жгучую боль, как песчинка в глазу, и потребовалась чуть ли не целая жизнь, чтобы понять — именно эта болевая точка и доказывала, что я еще живу. И что я все-таки какой-никакой, а человек». Последняя мысль, едва ли не самая важная для Энkvиста, повторяется как рефрен и в других его произведениях.

Проходит пять лет после обмена. Герой снова стал встречаться с Юханнесом. Их поначалу объединила новая беда: мать Юханнеса, чтобы как-то помочь ему вжиться в новую обстановку, удочерила сироту, Эву-Лису, ставшую предметом симпатии мальчиков. Но вот у них появился Враг, поклонник девушки. Ее короткий «греховный» роман оказался трагичным. Вскоре она поняла, что ждет ребенка. Оскорбленный в своих чувствах, Юханнес предал Эву-Лису, рассказав все матери. А герой принял сторону девушки, и именно к нему она пришла однажды зимней ночью, когда настало время. И именно ему выпало помогать при тайных родах в деревянном сарае в ярком свете луны, хоронить в проруби мертвого ребенка, завернутого в газету, и присутствовать при смерти Эвы-Лисы.

Позже, летом, по некоему движению души он при-

гласил вновь потерянного и виновного в гибели Эвы-Лисы Юханнеса отправиться с ним на их таинственный остров, чтобы найти останки ребенка. Юханнес поскользнулся на мокром плоту и упал в воду, но герой не помог, не захотел ему помочь. «Палачей и жертв понять очень просто, — напишет он. — Предателям приходится хуже. Мне иногда кажется, что каждый человек хоть раз в жизни вынужден стать предателем. Тогда и самых отъявленных сквернавцев легче понять. Им приходится хуже всех. Но, побывав в их шкуре, лучше знаешь, что такое человек, и тогда можно их защищать». Юханнес исчез в глубине острова на сорок пять лет. «Он исчез в глубине острова, которого я так страшился все свое детство, не ведая его настоящего названия и того, что Богодетель однажды приведет меня в самое сердце таинственного острова, где меня будет ждать Юханнес, мой единственный друг (уже при смерти. — Н. К.). Сейчас я лишь временно освободился. Освободился от него, не подозревая, что я его вечный пленник...»

Герой, словно бы совершая некое ритуальное действие, отправился с останками младенца в пещеру мертвых кошек (любимое пристанище в детстве), где его воспаленному воображению является воскресшая Эва-Лиса (так она обещала, умирая), и они проводят вместе шестнадцать дней, вдвоем — у Сына Человеческого опять не хватило времени, — пока его не нашли и не отправили в больницу, и он будет молчать четыре года и два месяца.

«И ты должен молчать, несколько лет, и думать, — звучат как завет для него прощальные слова Эвы-Лисы. — Ты сперва не верил, что можно умереть, а потом воскреснуть в этой земной жизни. Но ты ведь видишь, что это возможно. Самое ужасное начнется теперь. Именно теперь ты станешь взрослым. Но ты должен свети воедино. Если ты этого не сделаешь, значит, и моя жизнь, и моя смерть, и мое воскресение не имели никакого смысла...»

Человеку дают под дых, но на свете нет ничего неоправдываемого».

Рассмотренные три слоя, три плана. Сложно, но весьма органично взаимодействуют в нерасторжимом единстве романа. Фрагменты — да еще какие разные: описа-

ние конкретных событий, выдержки из дневника, сновидения, переходящие иногда в бредовые состояния, — накрепко соединены, часто с помощью настойчивых повторов, аналогичных рифме в поэзии (вы уже почувствовали это), неудержимым стремлением героя (в сущностных своих проявлениях являющегося, несомненно, вторым «я» Энквиста) вновь обрести себя. Ведь «если тебя обменяли, ты никогда не можешь быть уверен, что ты настоящий человек».

Сколько страданий может содержаться в одной человеческой жизни! Сколь она непроста! Различные пласты повествования, в которые погружает читателя автор, и предназначены для того, чтобы передать, отобразить различные стороны действительности, прошедшие через сознание героя, и одновременно зримо представить внутреннюю сложность его личности. Они несут в себе и многие, порой неразрешимые противоречия. В частности, герой и Юханнес не просто и не только образы мальчиков, но две стороны одной личности — можно воспринимать их и так, — оказавшейся в запредельных обстоятельствах. «Юханнес, конечно, не воскрес. Дело в том, что, если кто-то никогда не существовал, он не может и умереть, а следовательно, и воскреснуть. Он был мой лучший друг. Я хотел быть таким, как он, хотя он стал предателем». Их соединяла дружба, а отталкивал некий «синдром Каина», присущий, как упоминается в романе, альбатросам, первым родившийся птенец которых убивает остальных. Но это, разумеется, только одна линия — отношения между персонажами куда многообразнее.

Помните: «Есть всего три типа людей: палачи, жертвы и предатели»? На самом деле, подчеркивает писатель, все значительно сложнее. Сущность человека и его поступков противоречива, зло и добро неслучайны и взаимобусловлены. Собственно говоря, иначе и быть не может, так уж устроен мир. Ушли (или еще уходят?) в прошлое наивные модели создания рая на земле при жизни нынешнего или следующего поколения. Конечно, как не помечтать о том, чтобы собрать людей в единую человеческую общность без идеологий, обязательно базирующихся на противостоянии, тем более антагонистическом, двух полярных сил — классов, социальных

групп, партий и т.п., а на уровне межличностном, семейно-бытовом — мужчины и женщины. Вроде бы и действительно — тенденции развития природы и общества тому подтверждение — без отношений, основанных на взаимодействии и сотрудничестве, человечеству и не выжить. Но ведь это надо не просто понять, осознать, а сделать ценностной доминантой если уж не каждого, то большинства людей на планете, определяющим фактором их повседневной позитивной деятельности. Очень неблизко это будущее, но истоки его в настоящем. Пер Улов Энквист, в творчестве которого превалируют тревога и забота о душе его современников, — в ряду тех, кто сегодня питает эти истоки. Жизнь каждого человека уникальна и бесценна. И «всегда есть что-то лучше смерти». Страдания неизбежны, и это не квиетизм — безропотное, смиренное подчинение любой чужой воле, а просто трезвый взгляд на жизнь мыслящего человека. «Если отбросить боль — значит, она была напрасной. Тогда, значит, просто-напросто было больно... Может быть, как раз то, что причинило боль, и служит доказательством, что ты стал человеком». К такому заключению приходит герой, когда ему удалось все свести воедино.

И вот книга прочитана до конца. Не раз и не два у меня перехватывало дыхание — произведение искусства возводит ту реальность, которую мы наблюдаем ежедневно, «в десятизначную степень» (замечено О. Мандельштамом. — *Н. К.*), — как-то я даже невольно улыбнулся над притчей об осле и пустом горшке из-под меда (из историй о Винни-Пухе), которую якобы рассказал Иисус своим ученикам, надолго задумывался над сложной символикой Энквиста, где «символ высится постоянным укором перед нашей способностью осмысления и чувствования» (*К. Г. Юнг*). Ясно одно — бытие побеждает. «Любовь преодолет все», — так верил *Х. К. Андерсен* в пьесе *П. У. Энквиста* «Из жизни дождевых червей». А в остальном: «...кто сказал, что можно понять. Понять нельзя, но кем бы мы были, если б не пытались»...

Н. Колобков

ПРОЛОГ

(*Пять последних вариантов*)

I

Сейчас, скоро, мой благодетель капитан Немо прикажет мне открыть краны, и корабль вместе с библиотекой пойдет на дно.

Я просмотрел библиотеку, но не до конца. Когда-то я втайне мечтал все свести воедино, чтобы все было завершено, закрыто. Чтобы наконец можно было сказать: вот так это было, так было дело, вот и вся история.

Но ведь для этого потребовалось бы больше ума. Впрочем, без большого ума легче не сдаваться. Были бы мы умнее — опустили бы руки.

В том, что человеку бывает страшно, что он постоянно повторяет *сейчас, скоро*, особой беды нет. Хуже, когда все уже позади и превращается в *тогда, никогда*. Тогда и бояться уже слишком поздно.

Юсефина Марклюд навестила меня всего один раз за те годы, что я провел в заведении, когда я молчал о том, что же произошло на самом деле, за те четыре года и два месяца, когда я ничего не говорил, хотя мне было что сказать. Ведь можно начать сводить воедино, не говоря при этом ни слова. В общем, она пришла навестить меня. А три месяца спустя умерла, и зеленый дом продали.

Получилось как-то односторонне. Она все больше сама говорила. Вспомнив Эву-Лису, призналась, какие большие надежды связывала с ее приездом. Надеялась, что... н-да. Словно бы Эва-Лиса, хоть и была ребенком, могла бы стать ей вроде матери. Хотя матерью-то была она. Приблизительно так, но другими словами. И в конце концов все закончилось катастрофой. Больше она ничего не сумела из себя выжать.

Ни слова о том, что надеялась взять на себя заботу о мертвом младенчике. Поди ж ты. Поди ж ты.

Коли не можешь ничего из себя выжать, все превращается в *тогда, никогда*. И остается лишь сидеть и распускать нюни.

Уходя, она собиралась — я видел — похлопать меня по щеке или что-то в этом роде, но потом, наверно, решила, что это ни к чему.

Как подумаешь, сколько всего не получилось из-за того, что это было ни к чему. О ней мне бы тоже следовало позаботиться.

II

Твердость и слезы. Твердость и слезы.

Сперва это вбили в голову мне. Потом Юханнесу, потом Эве-Лисе. Юсефина всем нам вбила в голову, что Бог — это карающий отец, не «как бы» карающий отец, нет, смысл был в том, что и земные отцы такие же. А поскольку они отсутствовали, померли и все же каким-то образом представляли угрозу именно своим отсутствием, она внушала нам, что такова природа отцов. Всех отцов. Бог — высший отец. Карающий.

Но надежда оставалась. Надежда — это Сын Человеческий. Он не такой сердитый, чуть ли не злобный, как сам Бог. Сын Человеческий пригож собою, всеобщий любимец, а в боку у него рана, из которой истекли кровь и вода и в которой, как в пещере, могли укрыться сквернавцы, прячась от врагов.

В деревне тоже так считали. «И истекли оттуда кровь и вода». Каждая молитва заканчивалась словами: «Во имя крови, аминь».

Иисус был заступником перед карающим Богом. Мне понадобились все мои детские годы, чтобы уразуметь, что у Сына Человеческого чаще всего не хватало времени. Очень редко, когда хватало. И уж в любом случае его не было с нами последние шестнадцать суток, со мной и Эвой-Лисой, в пещере мертвых кошек.

Юханнесу подарили сводную сестру в награду, как бы в знак примирения, подарили ему, а не мне.

Вот это-то и странно. Он наверняка воображал, будто заслужил такой замечательный подарок. Но самые прекрасные вещи на свете вовсе не требуется заслуживать. Красивые, умные, пригожие заслуживали, и все равно самое прекрасное иногда доставалось другим, совершенно незаслуженно.

К «Наутилусу», к Юханнесу, в библиотеку меня привел Благодетель, капитан Немо.

Юханнес врал все время, ясное дело. Небось ему тоже было страшно. Но я узнал больше из его вранья, чем из его правды. Правда всегда была неинтересна. Зато, когда он врал, он подбирался совсем близко. Вранье он мне оставил вроде бы как в извинение. Мольба о прощении. Точно можно просить о прощении самого себя.

Пожалуй, все-таки можно. Не исключено, что мы только это и делаем.

Под враньем он обычно хочет скрыть нечто важное. Как правило.

Ежели у тебя нет имени, ты Никто. И это тоже вроде как освобождение.

Последнее, что он написал перед тем, как умереть на диванчике в неприбранной кухне «Наутилуса», не доев тюрю и забыв валенки в прихожей, — попытка воссоздать историю того, как выгоняли Эву-Лису. Эта история у него существует в нескольких вариантах. Впрочем, здесь скорее не воссоздание, а заклинание.

«Ее отняли у меня». Отмечаю некоторую торжественность тона.

Юсефина Марклюд, которую Юханнес постоянно, точно заклиная, называет «моя мать», хотя ведь прекрасно знал, что она моя мать, стояла на верхней ступеньке лестницы, ведущей на второй этаж, и в бешенстве кричала сверху вниз на Эву-Лису. Именно так, «сверху вниз», как карающий Господь. Юханнесу явно хотелось создать такое впечатление. А в самом низу, у подножья лестницы, наблюдал за происходящим он сам.

Помещения он всегда описывает очень тщательно.

Лестницу, хозяйственные постройки, комнаты, кусты шиповника, родник. Чуть ли не каждый гвоздь. Рассказывая о людях, он непрерывно врет. Зато гвозди, батареи и животных описывает со страстной правдивостью.

Но какое-никакое, а это все же начало.

Лестница присутствует весьма часто. И спальня с пожарной лесенкой, которую папа приладил во время постройки дома, и рябина, считавшаяся деревом счастья, — зимой на ней были и снег, и птицы. И чердак, где летом спала Эва-Лиса.

Чердак был завален всяким хламом, а в дальнем углу стоял ларь со старыми газетами. В основном «Норран», за много лет. Когда в нужнике кончалась бумага, газеты отправлялись туда. Еще в «Норран» можно было заворачивать разные вещи и нести их завернутыми. Рыбу, например, или что-нибудь другое из того, что выбрасывалось в озеро.

Там же стояла и сахарная голова. На листе вошеной бумаги, а возле лежали щипцы для сахара.

То, в чем он сомневался больше всего, он заносил в особый журнал, под номерами и всем прочим. Возможно, это придавало ему уверенности.

Так вот, фамилия матери Эвы-Лисы была, по его словам, Баккман. Она «родилась в Ньюланде, в период между двумя войнами, училась в Берлине, получила профессию пианистки; не исключено, что в ее жилах текла валлонская или другая пришлая кровь. Жизнь, однако, она прожила сомнительную, под конец заболела тяжелой формой болезни Паркинсона, и ее труп, объединенный крысами, был обнаружен местной полицией в Мисьонес, в северной Аргентине».

Это его версия.

Он пишет о смерти фру Баккман как о чем-то случившемся далеко-далеко. Недвижимая, объединенная крысами. «И тогда наконец зажглась первая звезда на ее щеке».

Что ж, возможно. Но так совращает предатель, желающий скрыть, что какое-то событие происходит совсем рядом, а не на краю света, в Мисьонес, в северной Аргентине.

Он часто упоминает про сахарную голову.

Юсефина привела его и Ээву-Лису в кухню, и они преклонили колена перед кухонным диванчиком, по обе стороны от Ээвы-Лисы. Карающее богослужение перед любящим Богом.

За нее, согрешившую.

Речь шла о каком-то пустяке, пишет он, ерундовой краже, может, двадцати пяти эре. Но следовало помолиться, чтобы эта зараза греха не тронула любимого сына, вновь обретенного и возвращенного в дом, а не отвергнутого, в отличие от меня. И Юсефина молилась, чтобы зараза греха не тронула Юханнеса, не потянула за собой в зияющую черную дыру греха — бездонную тьму океана.

Он подробнейшим образом рассказывает об этой церемонии изгнания дьявола.

Потом они спели псалом из «Сионских песнопений». Ээва-Лиса, грешница, тоже запела, а до этого она больше молчала. Во имя крови, аминь.

Вечером того же дня Юханнес отправился к ней на чердак.

Стояло лето. Под окном был пригорок, утыканный, точно сорняками, осинами. Деревья-великаны дрожали, словно под землей забылся в тяжелом сне вулкан; это тоже было естественно, мы, дети, это понимали. Вулканы всегда спят. Но осины знали об их существовании, у них слух намного острее, чем у людей. Скорее, как у кошек.

Он вошел к ней на чердак, шепотом окликнул ее по имени. Она не ответила. Он присел на краешек кровати. Ее черные глаза были устремлены на него. Как будто Ээва-Лиса, сосредоточенно глядя на Юханнеса, хотела получить ответ или попросить его о чем-то, оставаясь в то же время начеку. «Точно я был посланцем Юсефины, женщины, которая ненавидела ее до глубины души и которую она называла своей матерью, хотя та была ее смертельным врагом».

Вот так он пишет. В этом смысле все его тексты в библиотеке «Наутилуса» — милосердные заклинания. Но я больше на обман не поддаюсь.

У нее черные глаза, черные волосы, ногти обкусаны. Я знаю, он любил ее.

Она дышала беззвучно — и молчала. Тогда он протянул ей кусочек сахара. Она не пошевелилась, не взяла. Он ждал с вытянутой рукой.

Снаружи, в летней ночи, нежно шелестели листья осин, беспокойно, но не предвещаая опасности. Однако Юханнес пишет только о глазах Эвы-Лисы.

Он знал, что она хочет спросить. Он протянул руку. Почти незаметно она отвернулась. Он поднес сахар ближе, прижал к ее губам. Губы сухие, чуть потрескавшиеся, дыхание беззвучно. Плотнo-плотнo прижимал он сахар к ее губам.

И вот наконец увидел, как ее губы тихо раздвинулись, совсем чуть-чуть, но вполне достаточно, чтобы он смог это заметить, — кончиком языка она осторожно лизнула белый разлом сахара.

«Есть всего три типа людей: палачи, жертвы и предатели.

Палачей и жертв понять очень просто. Предателям приходится хуже. Мне иногда кажется, что каждый человек хоть раз в жизни вынужден стать предателем. Тогда и самых отъявленных сквернавцев легче понять. Им приходится хуже всех. Но, побывав в их шкуре, лучше знаешь, что такое человек, и тогда можно их защищать».

III

Через полгода после того, как мы с Юханнесом появились на свет, умер папа, ну, тот самый, кто был отцом по крайней мере одного из нас.

Думали, аппендицит. Но оказалось нечто другое, наследственная болезнь, встречавшаяся главным образом в деревнях северной части Норрланда, порфириновая болезнь. Она передавалась по наследству, внутренняя корневая нить, которой смерть связывала поколения. Поскольку болезнь была такой необычной, ее всегда принимали за аппендицит и лекарства прописывали соответствующие или делали операцию; поэтому-то и конча-

лось почти всегда смертельным исходом, коли речь шла о порфириновой болезни.

Это он построил зеленый дом и пожарную лесенку приладил.

Один из нас, Юханнес или я, носит в себе отпечаток этой болезни. А хотели носить его оба. Наследие смерти, позволявшее нам жить. Многие не знают своих отцов. Но чтобы мать не знала, ее ли это ребенок, — очень даже непривычно.

Для нас с Юханнесом тоже все было непривычно.

Странное возникает чувство, когда тебя обменивают. У тебя не остается ничего, кроме надежды, что ты унаследовал хотя бы болезнь, крошечный отпечаток смерти в жизни, чтобы можно было выжить. Наследство, самое что ни на есть незатейливое, чудную хворобу, ту, что позволяет держаться вместе, хоть жизнь и пыталась разлучить.

Надо быть поосторожнее. Ведь с того дня, как я обнаружил Юханнеса в подводном корабле, речь идет и о моей жизни тоже.

События на лестнице произошли в декабре 1944 года. Так получилось, что я это знаю совершенно точно. Тогда-то у него и отняли Ээву-Лису.

Ее собирались отослать прочь.

Все, что не причиняет боли, документально зафиксировано — от формы лестницы до того, где стояло отхожее ведро. И как она орала сверху вниз на Ээву-Лису, чтобы та убиралась.

Не объясняя почему. Просто поразительно, что он не замечает, как смертельно, как страшно напугана Юсефина Марклюд. Невероятно, насколько человек может быть слеп — не увидеть это сморщенное, перекошенное от ужаса лицо.

Сразу видно, каким фальшивым становится сам тон, когда он врет про нее.

Сейчас, скоро.

Ничего странного в том, что человек боится. Все боятся. И говорят тогда: *сейчас, скоро*, — втайне надеясь, что однажды будет слишком поздно.

Я уехал далеко-далеко после того, что случилось с

Ээвой-Лисой, и шестнадцати суток, которые я провел с ней в пещере мертвых кошек. И с тех пор прошло много лет, я немало причинил горя самому себе, и другим тоже. Мысли о Юханнесе и Ээве-Лисе долго вызывали у меня резкую, жгучую боль, как песчинка в глазу, и потребовалась чуть ли не целая жизнь, чтобы понять — именно эта болевая точка и доказывала, что я еще живу. И что я все-таки какой-никакой, а человек.

Если отбросить боль — значит, она была напрасной. Тогда, значит, было только больно.

Своими короткими, небрежными записочками из библиотеки он посылает мне сигналы.

Я их собрал.

«Выдыхаю свое лицо».

«Надо быть благодарным своим благодетелям, иначе будешь вынужден испытывать стыд, и вину».

Стыд, и вину.

Но я ведь знаю, что он любил ее. А когда было уже слишком поздно, когда на ее щеке уже зажглась первая звезда, ему только и осталось, что запереться в библиотеке капитана Немо, дабы воссоздать заклинания.

Мы обнаружили пещеру мертвых кошек в тот самый день, когда убили птенцов. Это случилось за год до обмена, пока Юханнес еще был моим лучшим другом.

Птичье гнездо мы нашли в лесу, рядом с тропинкой, которая вела на вершину Костяной горы. Мы нашли гнездо с правой стороны, если стоять лицом к горе. А потом, углубившись на пятьдесят метров в лес, обнаружили пещеру мертвых кошек.

Кошки во времена моего детства вели себя как слоны: чувствуя приближение смерти, они уходили с глаз долой. О слонах нам было известно все — они скрывали от мира свою смерть, прятали свою смерть от жизни. Вот так же обстояло дело у нас с кошками. Таким образом, смерть представляла собой две противоположные вещи, никак друг другу не соответствовавшие или говорившие одно и то же, но по-разному. С одной стороны, было страшно важно сфотографировать покойника в гробу. Посмертные карточки имели громадное значение.

Их вставляли в рамку и водружали на комод в горенке перед кухней. Где потом можно было сравнивать себя с покойником, к примеру, с собственным отцом, и, ежели вдруг казалось, что это ты сам, тебя обдавало волной холода. Но зато все становилось на свои места — ты был частью трупа. Но в то же время смерть была похожа на умирающего слона. Человек удалялся от жизни и умирал, хоть и продолжал жить — правда, в уединении.

Так многие жили.

Гнездо находилось почти у самой вершины горы, там, где стояла лосиная башня. Птенцы только-только вылупились, они были живые, и их клювики не закрывались. Они упрямо требовали чего-то, а у нас ничего не было. Все же птенцы показались нам славными, и мы решили положить их на листья, ну, почти как на овчину, чтобы они не замерзли в ночную стужу.

Тельца у них на ощупь были чуть липкие.

Мы вернулись туда через два дня. Листья лежали нетронутыми. Мы смахнули их. Птенцы были мертвы. Они не поняли, что мы — благодетели. Человек источает своего рода убийственный запах, вот птенцов и бросили.

И ничего тут не поделать. Мы убили птенцов. Перенесли на них человеческий запах смерти.

Помню, как нас затрясло от возмущения. Мать птенцов просто-напросто их бросила. Это случилось за год до обмена, пока Юханнес еще был моим лучшим другом и не переселился в зеленый дом.

В тот же самый день мы обнаружили пещеру мертвых кошек.

IV

В детстве у меня не было ни одной книжки, но после обмена Юханнесу подарили целых двенадцать, и одну из них он отдал мне — «Таинственный остров».

Все свои детские годы мы учились толковать путеводные нити и посылать сигналы. «Таинственный остров» был сигналом. Оставалось только расшифровать его. На это ушла почти вся жизнь, однако в конце концов мне это удалось.

Самым важным был последний лагерь Благодетеля. Благодетель, как называл себя капитан Немо, разбил свой последний лагерь в центре вулкана Франклина. У него было время для попавших на остров поселенцев, потерпевших крушение, тех, кто уже почти потерял веру в то, что они еще люди. Примером служил Сын Человеческий, но у того вечно не хватало времени. На Благодетеля можно было положиться.

Как все было бы просто, если б я понял с самого начала. Юханнес будет ждать меня в библиотеке «Наутилуса». Капитан Немо покажет мне дорогу. И там я наконец все сведу воедино, открою краны и выплыву на открытую воду.

В этой истории речь идет обо мне, Юханнесе, Эвеле-Лисе, об Альфильд и маме из зеленого дома. Но я понял это только после того, как вновь нашел Юханнеса в библиотеке капитана Немо.

Вот как было дело.

Остров с горой Франклина находился недалеко от побережья Ньюланда.

Капитан Немо оставил указания. Мне надо было лишь, двигаясь вдоль тонкого металлического провода, пройти через полуобвалившийся туннель, который вел в кратер вулкана.

Так написано в книге. Совсем просто.

Тонкий провод исчезал в воде. Я причалил лодку у подножья скалы, будто птичьим клювом клевавшей морскую гору, но, останься я там навсегда, не прошло бы и секунды вечности. Вот это и значит быть человеком по отношению к Богу: Бог — ужасающая вечность, а задача человека — срыть гору вечности своим птичьим клювом, чтобы добраться до Благодетеля. Так я, ребенком, понимал связь вещей.

Что-то твердое и огромное, что было Богом и что называло себя вечностью. И что-то маленькое и упрямое, что было человеком, с птичьим клювом, и что однажды уничтожит Бога — черную гору посреди моря. Это невымыслимо, почти невозможно. Но надо же попытаться. Неудивительно, что в этой безнадежной борьбе с Богом ничтожному человечешке требуются помощь и руководство благодетеля.

Вода закрывала вход в туннель. Придется ждать. Начнется отлив, и вход обнажится.

Я сидел под выступом скалы. Лил дождь, разыгрался и затих шторм, наступила тишина, уровень воды опустился. Я подумал, что скоро все разъяснится. Нельзя объяснить любовь. Но если можно уничтожить ту гору посреди моря, которая есть Бог, и это делает человека человеком, почему же нельзя объяснить любовь?

Я вновь сел в лодку и начал грести к центру кратера.

Пещера медленно расширялась. И наконец я увидел ее целиком.

Округлый свод уходил в высоту метров на тридцать. Гигантская пещера, исполинский собор с бело-синим сверкающим потолком, где украдкой проступали красно-белые оттенки, величественной аркой вздымалась над водами озера, покрывавшими пол: точно ты проникал внутрь человека.

В человеческом чреве — вот где я находился. Как бы внутри самого себя: я рассматривал простейшую тайну загадки изнутри, где она всегда и таилась, но где ее никак нельзя было ожидать найти.

Свод пещеры, казалось, покоился на колоннах, на десятках, а может, сотнях практически неотличимых друг от друга колонн, созданных самой природой — возможно, во времена возникновения Земли. Мне нравилось думать, что Земля возникла одним мановением руки, была создана внезапно, как в акте любви.

Эти базальтовые столбы уходили в блестящую, неподвижную водную гладь, в черную, похожую на ртуть, воду; да, эта вода представлялась мне именно такой, блестящей черной ртутью, которая не пожелала иметь ничего общего с морем вокруг острова и потому решила замереть в неподвижности, неподвластная жизненным бурям. Здесь царил покой. К такому покою стремилась эта ртутная рука.

Из нутра вулкана вздымалась рука черной воды, черная гигантская рука тянулась вверх, отсюда, из центра жизни.

Из центра жизни.

Лодка неспешно заскользила вперед и остановилась. И там, посередине, я увидел корабль.

С палубы судна вырывался свет, шедший из двух ис-

точников, возможно двух прожекторов. Снопы света, узкие, концентрированные, ослепительные у основания, дальше несколько рассеивались. Свет, натываясь на стены пещеры, превращал каменные глыбы в кристаллы; несмотря на бесчисленные блики, свод по-прежнему был погружен в темноту. Вода — черная ртуть. Впереди, в сотне метров — судно, я тихонько скольжу ему навстречу. И блики, звезды в вышине, на высоте тридцати метров.

Это как поздние зимние вечера моего детства. В то время еще пылали северные сияния. Это было до того, как у нас отобрали северное сияние, и звезды еще были редкие, теплые и колючие. Ты замирал, стоя в снегу, и глядел на световые сигналы в вышине: там был мир, населенный черными дырами звезд и привязанными к ним ниточками. Юханнес, до того как стать предателем, говорил, будто это небесная арфа. Музыку можно было слышать зимними ночами, когда трещали морозы, — тогда таинственный мир, который мы с ним себе создали, начинал петь: мир, полный звезд, струн, музыки и тайных сигналов. Все служило для того, чтобы указать тайные тропинки, ведущие в глубь пещеры Франклина, где скрывался пока еще наш благодетель, тот, кто в конце концов укажет нам путь, сделает так, чтобы все совпало, все свелось воедино, все наконец свелось воедино. То был мир доверенных нам таинственных знаков, в котором никого не бросали на произвол судьбы.

И сейчас я знал, что он там. Под искусственными звездами, сотворенными прожекторами. Здесь он нашел уединение. Сюда призвал меня, как и обещал когда-то.

Источники света находились на расстоянии кабельтова. Я заработал веслами.

Повернувшись, я оглядел судно, видимое теперь во всех мельчайших деталях.

В середине вулканической пещеры покоился, поддерживаемый гигантской черной ртутной рукой, длинный предмет веретенообразной формы. Он имел около девяноста метров в длину и возвышался над водой на три-четыре метра. Я не мог с уверенностью определить,

из какого материала он сделан, но это было не дерево, скорее какой-то металл, алюминий или вороненая сталь.

Моя лодка медленно приближалась к судну. Я его сразу узнал. Сходство с иллюстрациями из книжки, подаренной мне Юханнесом, было настолько разительно, что сомнений не оставалось: это тот самый корабль, я его видел, а Юханнес о нем мечтал.

Я подплыл к левому борту судна. Все было подготовлено как следует. Борт корабля отливал черным металлом. Я привязал лодку и взобрался наверх. В центре палубы меня ждал раскрытый люк.

Я начал спускаться в нутро подводной лодки.

Сперва у Юханнеса совсем не было книг. Потом он стал читать их в лавке Сельстедта, где имелись тома библиотечки, выпускавшейся «Синей лентой»¹. Заметив, что он любит читать, ему подарили первую книжку. Всего, вплоть до событий в дровяном сарае с Ээвой-Лисой, Юханнес получил двенадцать книг.

И то, что одну из этих двенадцати — «Таинственный остров» Жюль Верна — он отдал мне, стало быть, вовсе не случайность. Он мог бы дать мне «Загадку пещеры» (о приключениях в стране басков во время игры в пелоту и о пещере, которая была глубже, чем пещера мертвых кошек) или «Кима» Киплинга, которого я читал столько раз, что под конец перестал понимать содержание, знал лишь одно — когда-нибудь и я погружусь в реку знания, надо только набраться терпения. Или «Триста рассказов для детей» Мии Халлесбю. В одном из них рассказывалось о черной исполинской горе посреди моря, куда раз в тысячу лет прилетала птица поточить клюв. И когда от горы, в десять километров длиной, десять шириной и десять высотой, ничего не осталось, прошла лишь одна секунда вечности. То была греза о борьбе человека против Бога. Жуткая греза.

В иные ночи я не мог заснуть, потому что эта необъятная вечность наполняла меня ужасом. Да, не исключе-

¹Общество трезвости в Швеции. — Здесь и далее примечания переводчика.

но, что на самом деле именно эта его маленькая библиотека в двенадцать книг и сформировала мой мир, что сказки, образы и страхи были заложены уже там и с тех пор останутся неизменными. Но я долгое время не сомневался в том, чем это кончится: меня приведут в последнюю библиотеку, где мифы развеются ясностью, страхи — объяснениями и где все наконец будет сведено воедино.

Юханнес сперва подумывал о «Робинзоне Крузо», признался он потом, о книге, над которой работал много лет («работал» было его любимым словом для обозначения того, что занимало его мысли) и из которой, я видел, он переписывал множество раз бесконечные списки спасенных с потерпевшего крушение корабля вещей; переписывал и расширял, точно все эти вещи (четыре мушкета, один бочонок пороха, восемь фунтов вяленой козлятины, пять топоров, пять маленьких топориков) были заклинаниями, успокаивающим ритуалом и он мог, по примеру одинокого островитянина, переправить их в надежное укрытие и тем самым обрести уверенность в этом мире.

Но он дал мне другую книгу — «Таинственный остров», — в которой отчеркнул самый конец, там, где Благотелья обнаруживают в его библиотеке в чреве судна.

Потому-то я и нашел его.

Кстати: неправда, что я когда-то любил Ээву-Лису.

Неправда. В противном случае это была бы весьма странная любовь. И такая любовь вызывает чувство стыда, и вины.

Я спустился вниз, в люк, тщательно задраив за собой крышку, точно готовился к отплытию, хотя на уме-то у меня было другое.

Внизу от лестницы шел длинный, узкий коридор. Он был освещен электричеством и заканчивался дверью. Я подошел к ней. И открыл.

Я очутился в громадном зале. В музее, таком богатом и огромном, что даже в детстве, со всеми своими детскими представлениями и фантазиями, я не мог вообразить ничего подобного. В этом музее были, казалось, собраны все сокровища царства минералов. А еще там были кое-какие сокровища с севшего на мель корабля, об этом

свидетельствовала составленная им опись спасенных вещей. Он не забыл ни одного предмета в этой своей описи, той самой, которую он многократно переписывал и уточнял; и настолько тщательно он это проделал, что теперь все это смогло обрести место в его последнем музее.

Я ведь прекрасно знал Юханнеса. Тут, в музее, ему наконец-то удалось собрать все воедино, в действительности: бочонок с порохом, вяленую козлятину, бочонки с солью, мелассу, мушкеты, пять топориков. Все, как и должно было быть. Все расставлено по своим местам в этом музее.

Долго, без всякого удивления я разглядывал хорошо знакомые предметы. Подошел к стене, на которой висели топорики. На ум пришло слово «испытующе», и я пальцем испытующе провел по лезвию одного топора. И, вспомнив пещеру мертвых кошек, улыбнулся испытующей, но печальной улыбкой.

Потом отворил следующую дверь и вошел. И там была библиотека.

Он лежал на диване и спал, не слышал моих шагов. Я узнал диван. Это был кухонный диванчик.

Капитан Немо привел меня туда, куда надо. Я нашел Юханнеса.

Я подошел к нему. Он спал у себя в библиотеке, он долго ждал меня. Спал легко, как птица, чуть раздвинув губы, легким, бесшумным, детским сном. Казалось, он улыбается, и его дыхание было похоже на дыхание птицы. Мне вспомнилось, как я увидел Юханнеса в тот раз, когда попытался вернуться в дом после обмена: его заперли в прихожей. Он стоял по другую сторону оконного стекла, говорить со мной не мог и царапал стекло ногтем, словно желая оставить на нем невидимый знак. И я тогда подумал, что там, за стеклом, он напоминает птицу, птицу, касающуюся окна кончиками крыльев: ибо так беззвучно было его бурное дыхание, так неразличим его плач, что я слышал лишь звук скребущегося о стекло ногтя, словно птица билась об окно, отгораживавшее ее от свободы, которой, как я внезапно понял, был я сам.

Теперь он спал. Пригожий на вид. Никак не ожидал, что этот предатель окажется таким пригожим. Но до чего ж постарел. Как и я. Мне-то сколько лет.

— Юханнес, — тихо произнес я. — Юханнес, это я. Я здесь.

Его дыхание изменилось: он вырвался из объятий сна, открыл глаза.

До чего ж постарел. Мы молча смотрели друг на друга. Он не проронил ни слова. Я повторил:

— Юханнес?

Может, он первый раз не расслышал. Да нет, расслышал.

Совсем старик. Но на вид довольно пригожий. Вокруг — его книги. Уже не двенадцать, как тогда, когда он мне подарил одну из них. Сотни, может, тысячи книг. Я сразу сообразил — все эти книги он написал сам. Он замуровал себя, как и обещал мне однажды в юности, в своей библиотеке.

И Юханнес, слегка повернув голову, с эдакой пригожей улыбкой сказал:

— Да никак ты? Сподобился, значит.

Судно было подводной лодкой. Называлось оно «Наутилус».

Так мы вместе задумали.

Была у нас тогда одна мечта — конец должен точь-в-точь напоминать последнее погружение капитана Немо. Он умрет, запертый в кратере вулкана. Я, последний гость, не спеша, торжественно открою краны и покину корабль. Камеры наполнятся водой. И начнется погружение. Одна только герметически запечатанная библиотека с плотно задраенными дверями, библиотека со всем утраченным, с последними отчетами и защитительными речами, останется нетронутой. И пока еще будут гореть прожектора, подводная лодка, называвшаяся «Наутилус», медленно опустится в наполненный водой кратер вулкана. И там, уже после того, как исчезнут последние искорки света прожекторов, он будет жить в глубине милосердного мрака. Там, в своем гробу, в фантастической подводной лодке, он, мертвый, будет жить, без воздуха, без пищи и без боли, во веки веков.

Так мы себе представляли тогда, так задумали: жить без боли, вечно, глубоко-глубоко, в библиотеке капитана Немо.

Слова нам были не нужны; и мы молчали.

Через час он снова забылся сном.

Я понял, что он болен и скоро умрет.

Наступило утро.

Я заметил это, но не по проникшему сквозь круглые окошки свету. Ведь в пещеру свет не проникал. Нет, я увидел его часы, те, что когда-то висели на кухне, те, что его отец купил перед смертью. Стрелка часов двигалась очень медленно, и один ее оборот составлял не двенадцать часов, а двадцать четыре. В полдень, стало быть, то есть в двенадцать часов, стрелка оказывалась в самом низу циферблата, а утром она смотрела точно вправо.

Я разглядывал часы без удивления, поскольку они были знакомы мне с детства.

Около восьми утра я прошел во внутреннее помещение.

Это была кухня, вокруг плиты, вернее, умело встроеной железной печи, по стене были выложены мраморные плитки с замысловатым орнаментом, скорее всего индийского происхождения. Печь первоклассная, конфорки снимались специальным крюком. Сбоку — медный бачок с водой для поддержания определенного уровня влажности воздуха. Он опорожнялся с помощью маленького краника на передней стенке.

Печь топилась дровами. Огонь погас.

На плите стояла сковорода с остатками еды. Я подошел поближе, чтобы рассмотреть содержимое. Ну, ясное дело — тюрю. Тюрю готовилась так: тонкую высушенную лепешку из крутого теста ломают на небольшие кусочки и поджаривают в растопленном масле, добавляя с четверть литра молока. Я знал, он обожал тюрю и ел ее чаще всего с селедкой или просто с кусочком сливочного масла.

Я взял сковородку и вывалил остатки тюри в глубокую тарелку. И съел, не разогревая. Вкусно и так. И запил стаканом кваса.

После чего вернулся обратно.

Помню, мы оба обожали тюрю.

Теперь он спал крепче.

Я положил руку ему на лоб — лоб был в испарине. Он беспокойно заворочался, но не проснулся.

Я обвел взглядом библиотеку. Здесь мне придется провести какое-то время, я это понимал.

На полу валялись последние записи, над которыми он работал. Я прочитал их. Там было всего несколько строк.

«У меня перед глазами все еще стоит дом со своей довольно высокой лестницей, спускавшейся на тропинку, которая вела к строгальной мастерской. Пониже луговины бежал ручей, через который проходила дорога. Рядом были устроены мостки. Мне тогда, помнится, было три или четыре года. Распластавшись на мостках, я палочкой тыкал в ил, где шевелились пиявки, и помню, что в тот момент у меня впервые пробудилось осознание собственного существования. Я отчетливо помню, как внезапно поднял голову, стораая со стыда, вытер пальцы и подумал: если тебя кто тут увидит... тебе... тебе... будет стыдно. Я часто лежал вот так на мостках, уставясь в воду, наблюдая, как, неспешно извиваясь, всплывают черные пиявки, а может, лошадиные пиявки, поворачиваются и возвращаются обратно в тину. Я не понимал, чего они там в тине ищут, и считал, что совершают они свои долгие подводные прогулки, чтобы помыться. И, желая помочь им, насколько это было в моих силах, я вытаскивал этих черных пиявок, которые, как я потом узнал, были лошадиными пиявками, из тины, а они, свернувшись в кольцо, цеплялись за свои илистые ложа, и клал на мостки. Потом я мыл эти существа из ручья так осторожно, с такой любовью, что они в конце концов делались совсем... чистыми».

Здесь он, похоже, остановился, перечеркнул последние строчки, словно бы хорошенько подумав, и перешел к совершенно другому событию, случившемуся, очевидно, намного позднее.

Вот как звучит этот пассаж целиком — в нем описывается происшествие на лестнице:

«Мы шли на чердак, и тут нас окликнула моя мать.

Эва-Лиса уже поднялась ступенек на десять, может, меньше, а я стоял внизу, еще не успел даже поставить ногу на самую нижнюю ступеньку. И тут моя мать начала говорить, поэтому мы все трое остановились там, где были, и так и остались стоять.

Я хорошо видел лицо матери. Она вышла из спальни со строгим, почти отсутствующим выражением на лице, и это выражение, пока она говорила или, скорее, кричала, все громче и громче, менялось — постепенно и совершенно необъяснимо. Как будто волна долго сдерживаемого бешенства исказила черты ее лица, сделала его почти нечеловеческим — так, что обычно строгие, правильные (а иногда нежные и почти красивые) черты словно бы свело яростной судорогой, чуть ли не болью.

Она бросала слова, которые я сперва понимал, а потом не захотел понимать. Поначалу в словах можно было различить смысл, но потом длинная череда справедливых и метких обвинений — кое-какие я уже слышал раньше и понимал — сменилась вовсе непонятными мне обвинениями, и только выражение страшного гнева оставалось неизменным. Или ненависти. Да, к своему ужасу, я вдруг осознал, что ею владеет ненависть, но не обычная, понятная ненависть, а что-то другое. И она с ненавистью и бешенством крикнула Ээве-Лисе, чтобы та убиралась, раз и навсегда, все было ошибкой, и теперь вон из этого дома.

Тогда-то, признаюсь, я и заорал».

Дальше зачеркнуто, но прочитать ничего не стоит:

«Я написал *признаюсь*, потому что хорошо помню, как мне было стыдно своего крика. И я признаюсь в этом *со стыдом*, потому что именно в этот миг я увидел в лице своей матери то, чего мне не забыть никогда: невероятное одиночество, и страх.

Ни за что бы не подумал, что она может испытывать страх. Раньше она никогда не боялась. И пока я орал от отчаяния и ужаса, я все яснее понимал — и это поставило точку на одном периоде моей жизни и бросило меня в другой, — что в эту минуту у меня отбирают и Ээву-Лису, и мою мать, точно так же, как у меня однажды, при обмене, уже отняли все, и Ээва-Лиса, и моя мать бросят меня, точно пустую раковину, и ничто никогда не сможет вернуть мне их обратно. И потом я пойму, что этот миг в моей жизни будет повторяться раз за разом — миг, когда тебя бросают, когда у тебя отбирают.

Она крикнула это сверху вниз Ээве-Лисе и мне. И

тогда я заорал. И внезапно Юсефине стало ясно, что она тоже с этой минуты будет очень одинока.

Никогда, никогда не освободиться мне от этого мига. Сколько ни суждено мне прожить, я буду помнить, что именно в этот миг меня посетила смерть, часовая стрелка, указывавшая на 24, остановилась. Вот как Эва-Лиса покинула меня, и вот как моя мать тоже в конце концов оказалась покинутой. Я видел ее лицо, когда она обернулась ко мне. И потом подумал: странно, что могущественный и карающий Бог может страшиться быть покинутым.

Хотя в тот раз я больше думал об Эве-Лисе. Мне следовало бы подумать о своей матери. Ее лицо стало похоже на птичье гнездо; когда, подняв листья, прикрывающие гнездо, обнаруживаешь мертвых птенцов, застигнутых внезапной смертью и одиночеством.

Вот как все было, когда их отняли у меня».

Я, наверно, читал много часов подряд. И заснул на кровати в комнате, прилегавшей к библиотеке «Наутилуса».

Комната, в отличие от зала-музея и библиотеки, была не прибрана и почти без мебели. В одном углу стоял знакомый, наполовину заколоченный ларь, где хранились старые газеты, старые подшивки местной газеты «Норран».

Я лежал, натянув на себя ветхую овчину. Мне представилось, будто овчина та же, какой была накрыта умирающая бабушка, но я отбросил эту мысль, потому что не могла та овчина оказаться здесь, в подводной лодке «Наутилус»: ведь ее отдали Никанору Маркстрёму из Оппстоппета.

Я вошел в библиотеку.

Часы на стене, те, что показывали 24 часа вместо 12, похоже, сделали круг-другой, но теперь я уже не мог отличить утро от вечера. Да какая разница. Точность, которой я прежде так жаждал, превратила меня в пленника часов. Теперь же я свободен, теперь я лишь пленник библиотеки, и Юханнеса.

Таким вот образом я в конце концов взял в плен самого себя.

Я подошел к нему. Глаза у него были закрыты, лоб в

испарине, он тихо стонал, и я понял, что он во сне испытывает боли.

Рот приоткрыт. Одна рука судорожно сжата. Я попытался разжать его пальцы, чтобы он чего не повредил себе, но, похоже, силы в нем еще достаточно.

Он болен, страдает. Я понял, что он скоро, совсем скоро умрет.

Он часто в своих посланиях писал мне о болевых точках. То, что он сейчас испытывал, было физическими болевыми точками: с ними можно жить или умереть, но без боли как таковой. Внутренние болевые точки он каталогизировал здесь, в своей библиотеке; здесь, в своей библиотеке, которая вскоре скроется в недрах вулкана.

Я принес плед и накрыл его. Его движения становились все спокойнее, и наконец он затих, как будто боль на время отпустила его. Ладонь разжалась, судорога ослабила хватку.

Мне, собственно говоря, следовало бы начать работу с библиотекой, но я все никак не решался. Просто сидел и глядел на него.

Скоро Юханнес умрет. Наконец.

Я, верно, заснул.

Проснувшись, несколько часов почитал. Он опять застонал. Я попытался напоить его, но он не хотел пить.

Он всегда был пригож с виду. Так говорили о нем, когда он был ребенком. Но как же он постарел.

По-моему, он меня узнал. Он же спросил, я ли это. Вернулся ли я домой навестить его.

В таком случае, должно быть, если кто и вернулся домой, так это я.

Помню солнечные часы на полу в пещере мертвых кошек.

Капитан Немо позаботился о кухонных часах из зеленого дома и теперь хранил их тут, в подводной лодке.

Часы на стене двигались, нет, не часы, а стрелка, так, мне думается, идет время. Каждый раз, когда стрелки смотрели точно вверх, наступала ночь. И тогда часы

имитировали прошедший миг, сутками раньше; это вполне могло бы быть и сейчас. Ведь у часов нет памяти, они не в состоянии помнить двадцать четыре часа — только ту секунду, которая длится сейчас.

Собственно говоря, эта краткая секунда вечности абсолютно никчемна. У нее нет памяти. Зато память есть у меня, и у Юханнеса, и у нашей библиотеки.

Иногда я ощущал слабую дрожь, сотрясавшую корпус «Наутилуса», как будто там, глубоко внизу, вулкан переворачивался во сне и снова засыпал.

Интересно, могут ли вулканы испытывать боль во сне, за мгновение до того, как проснуться и умереть.

«Пещера мертвых кошек», написал он на полях одной страницы.

Словно короткая, обращенная ко мне молитва.

V

Сейчас, скоро.

I. УЗУРПАТОРЫ ЗЕЛЕНОГО ДОМА

1. Прибытие новоселов

Как сестренка Эва-Лиса
родила ублюдка в полночь.
Перед мамой жутко трусит,
рыбу тоже страсть боится,
Бог накажет, боли мучат.

Стыдно очень, и украдкой
пробралась в ночи к сараю.
Там замок, и нет ключа.
Боль терзает, нету мочи.

1

Я получил право поселиться в зеленом доме из-за ошибки, совершенной в больнице Бурео в сентябре 1934 года, в тот день, когда и я, и Юханнес появились на свет.

Потом ошибка была исправлена. Меня обменяли — с соблюдением всех правовых норм, — отняв право жить в зеленом доме. Это право перешло к Юханнесу Марклюдю.

Позднее ему, взамен меня, дали в награду Эву-Лису. По причине его предательства ее отобрали у него, и у меня. Юханнес перенял право на зеленый дом, стал предателем, и у него отняли и Эву-Лису, и право на дом. Три года спустя дом сгорел. Вот вкратце и вся история.

«Биение пульса смерти», написал мне на листочке Юханнес.

Сперва я решил, что он говорил о приближающейся физической смерти. Но теперь мне кажется, он имел в виду нечто другое. Вот что он хотел сказать: мне следовало бы понять, что на свете нет ничего непоправимого, даже смерти, и что возможно, как Эва-Лиса, воскреснуть и в этой земной жизни, если только не продолжать жить — мертвецом.

Проснулся в 3.45, сон про пещеру мертвых кошек все еще перед глазами. Невольно провел пальцем по лицу, по коже щеки.

Ответ был совсем рядом.

Над водой повис странный утренний туман: мрак рассеялся, но еще осталось колышущееся серое покрывало, не белое, а точно с отблесками темноты; оно колыhalось метрах в десяти над поверхностью воды, абсолютно неподвижной и блестящей, как ртуть. Птицы спали, винтом уйдя в свои сны. Можно было вообразить, что я нахожусь на краю земли и передо мной — ничто.

Последний предел, и птицы, винтом ушедшие в свои сны.

Внезапно движение: взлетела птица. Я не слышал ни звука, только видел, как она била крыльями о поверхность, оторвалась, косо взмыла ввысь: это произошло внезапно, и так легко, так невесомо. Я видел, как она взлетела, взмыла к серому потолку тумана и исчезла. И ни звука я не слышал.

Наверняка вот так она и умерла. Не с тем звуком, какой бывает, когда давишь ногой улиток. А легко, как птица, что взлетает, взмывает ввысь и исчезает. И ты точно знаешь, что она снова прорвется сквозь туман, вниз, к воде, вернется, так или иначе, но вернется обязательно.

2

Уже на второй день Ээве-Лисе за утренней кашей было велено звать Юсефину мамой.

Она послушалась сразу. Меня к тому времени уже год как выдворили из дома.

Я долго считал, что в балладе, которую Юханнес прятал в библиотеке, но которую я нашел, всего две правдивые строчки: «Перед мамой жутко трусит, рыбу тоже страсть боится».

Насчет рыбы все понятно, мне понятно. Но — мама?

В его защитительных речах много говорится о хозяйственных постройках. И очень мало о маме. Он поменял

местами эти постройки, чтобы напугать меня, зато описывает их очень подробно, чтобы успокоить меня.

Я спокоен. Но спокойствие редко когда помогает.

И все же: это в его духе — попытаться приблизиться с помощью стихов.

Ему, верно, хотелось настроить меня на доброжелательный лад. Стихи, то есть поэзия, считались грехом, чуть ли не смертным грехом. Грешно сочинять стихи, если это не псалмы. Писать в стихах можно почти обо всем. Поэтому они были необходимы, но довольно бесполезны. И искать в них правду вовсе ни к чему.

К мифу о блокноте он возвращается неоднократно. Итак: у папы имелся блокнот, куда он записывал стихи. То есть поэзию. Записывал их, якобы возвращаясь домой из леса, по вечерам. Или в воскресенье, что менее правдоподобно, во всяком случае, было бы большим грехом. Писать стихи в воскресенье, должно быть, двойной грех, если не считать Страстную пятницу, когда это уже смертный грех.

Юсефина сказала ему, что она сожгла блокнот. Чтобы отцу не пришлось показывать его Создателю в Судный день.

Но ни она, ни Юханнес ведь не знали, что однажды ночью к нам с Эвой-Лисой в пещеру мертвых кошек явился капитан Немо и отдал мне блокнот со стихами.

К обмену я еще вернусь. А сейчас сперва расскажу, как было дело, когда Эва-Лиса приехала к моему лучшему другу Юханнесу, победителю и завоевателю, всеобщему любимчику, тому, кто позднее предаст Эву-Лису.

После обмена 4 декабря 1940 года с Юханнесом начались проблемы.

После того, как полиция отвела его туда, а меня от туда увели, он вроде бы стал каким-то нервным. С другой стороны, заботились о нем лучше некуда. И все-таки, говорила Юсефина, он чуточку нервничал. Никто не задался вопросом — может, это Юсефина сама нервничает? Нет, речь шла о Юханнесе. Пастор тоже жаловался. Поэтому было решено привезти ему сводную сестру. Сводный брат, наверно, тоже бы стоился, я к примеру, но справедливость ведь должна торжествовать, и Свен

Хедман, который по решению суда лишился Юханнеса и был вынужден удовольствоваться мной, сразу уходил в себя, стоило кому-нибудь об этом заикнуться. И вот прибыла сводная сестра.

Я описываю все как было, без горечи.

Когда она приехала, Юханнес сидел у окна на кухне, где прежде сидел я, и глядел на пригорок. Это было в сентябре 1941 года. На березах еще кое-где остались желтые листья, но ночью прошел снег, и казалось, будто снег прилег отдохнуть на желтые листья, нежно, точно смертным поцелуем, лаская их. Это короткое, вполне обыденное мгновение всегда причиняло легкую боль: то была самая прекрасная — и грозная — пора осени. На следующий день снег исчезал, а с ним исчезали и листья. Но именно в тот день и краски, и листья, и снег слились воедино; смерть, желтые листья и снег.

Собственно, все продолжалось считанные часы. Разве это время? Одна секунда жизни. Но, забывая прежнее — красоту и наступавшее позднее — белизну, это было запомнить просто, навек.

Эва-Лиса сошла с автобуса, который сделал остановку, чтобы выпустить пассажиров. Шофер, это был Марклин, выпустил ее. И она пошла вверх к зеленому дому.

У нее с собой был чемодан.

Иметь собственный чемодан кое-что да значит. У деревенских ведь были рюкзаки, это дело обычное, а чемодан имелся разве что у жены пастора, которая жила в Бурео и считалась важной птицей, и пастору в общем-то ничего таскать не приходилось. Чемодана его жены никто, пожалуй, и не видел, но так говорили.

Вот так относились к чемоданам. Эва-Лиса приехала с чемоданом, но много лет спустя, когда все случилось, никому и в голову не пришло про это вспоминать. Не о чем, мол, тут языком чесать.

Но с чемоданом, пожалуй, получилась промашка. С Эвой-Лисой с самого начала много промашек вышло.

Прежде всего, приход за нее платил. Немного, на самом деле почти ничего, старательно подчеркивала Юсефина. В общем и целом, если уж быть честными, только на тюрю и хватало, но все же. Потом — распутная мать, о которой и говорить-то особо не стоило и которая, по

слухам, к тому же была пианисткой, то есть играла на пианино. Не на органе. А еще — отец сбежал, в Южную Америку. А может, дед. Никто точно не знал.

И кроме того, все остерегались упоминать про пришедшую кровь в ее жилах. Ведь об этом можно было только гадать.

Но чемодан у нее с собой был. В этом чувствовался какой-то излишний шик. Вообще-то вполне естественная вещь, и в деревне многие считали это не заслуживающим внимания. Но чемодан она с собой привезла — это совершенно определенно.

Юханнес торчал у кухонного окна, когда она приехала. В руке она несла чемодан. С трудом тащила. Ночью выпал снег, хотя листья еще не облетели. Когда она подошла совсем близко, он сел на диван, чтобы она не заметила, что он подглядывал. Ни к чему показывать свое любопытство.

В деревне много чего было никчemuшным. То, что вызывало неодобрение, то есть почти все, было никчemuшным. Да попросту все — как бы это сказать — иное, отличное. Но в любом случае никчemuшное.

Своего рода закон, говоривший: нет. Очень короткий закон. Но достаточно важный.

3

Цвета тоже имели важное значение.

Молельный дом поблизости был желтого цвета, а дом — зеленого. Когда она подошла к зеленому дому, стоявшему на одном уровне с желтым, Юханнес сел на диван, чтобы она его не заметила. И продолжал сидеть, когда она вошла, и после того, как поздоровался с ней.

Только на следующий день ей велели говорить «мама».

Он нервничал с того самого момента, как услышал новость о ее приезде. И был настолько поглощен предстоящим событием, что два часа в предыдущее воскресенье, когда Ямес Линдгрэн читал Русениуса¹, промель-

¹Русениус, Карл Улоф (1816—1868) — шведский проповедник и религиозный писатель. Родился и вырос в Вестерботтене.

кнули словно во сне. Ямес Линдгрэн читал Русениуса монотонным голосом, пока ребятня уже больше не выдерживала. Тогда он ставил точку молитвой, заканчивавшейся «Во имя крови, аминь». Ясное дело, это не имело ничего общего с убоим скота.

Некоторые ребята были способны слушать чтение Ямеса Линдгрена целых три часа; за такую выносливость их прочили в проповедники. Ямеса Линдгрена в округе вполне почитали, но у него был усыпляющий голос, и каждые полчаса он закладывал за губу новую порцию табака, даже во время чтения Русениуса. За неделю до приезда Эвы-Лисы, но уже после того, как Юханнес узнал, что она прибывает, часы в молельном доме промелькнули словно во сне, так что совершенно очевидно — он нервничал.

Картина в алтаре молельного дома изображала Иисуса, друга всех детей, и на раме у нее белела зазубрина. Молельный дом был желтый. Зеленый дом, верно, смотрелся очень красиво, когда она пришла, на фоне свежеразвалившегося снега и желтых листьев.

Я пишу об этом без горечи.

Зеленая окраска нашего дома всем нам казалась немножко странноватой, поскольку большинство домов были красные. Но деревенские все же считали, что к этому не стоит относиться слишком серьезно, и ничего не говорили, во всяком случае, ни Юханнесу, ни мне. Впрочем, мы были малолетки, надо держать язык за зубами. Ушки на макушке, и так далее. Как тут ни кумекай, кто из нас — Юханнес или я — имел право жить в зеленом доме, но у нас было немало родни в деревне. Поскольку папа выкрасил дом в зеленый цвет, а потом помер, следовало считаться с усопшим. Поэтому о цвете много не распространялись.

Дом стоял на расстоянии около тысячи ста километров к северу от Стокгольма, по правую руку, если идти из Нурдмарка, или по левую, если ты шел из «Коппры». Он был зеленый.

Дом стоял на взгорье, на опушке леса.

Он был двухэтажный, причем второй этаж оборудован под жилье лишь наполовину. У одного из торцов, того, куда выходило окно спальни с видом на ручей, долину, и

озеро, и болото Хьогтбёлетрэскет с Русским островом посередине, — так вот, возле этой стены росла рябина.

Дерево, приносящее счастье.

Крыльцо располагалось с фасада, глядевшего на желтый молельный дом, который тоже стоял по левую руку, если идти из «Коппры», и по правую — со стороны Стокгольма. Кто-то из Вестры — не помню, как его звали, — бывал в Стокгольме, кстати, там же находилась и семинария Юханнелюнд, так что тут не о чем и языком чесать. На фасад выходило и окно кухни, где Юханнес дожидался появления Ээвы-Лисы. Ниже у ручья — строгальная мастерская с пиявками. На другой стороне озера виднелась усадьба Свена Хедмана, которая позже, после обмена, станет моим родительским домом, но от Хедманов мастерская не просматривалась. В определенные вечера — так решила Юсефина Марклюд — обитатели зеленого дома, то есть я и она, должны были собираться в кухне и просить прощения за содеянное. Каяться в грехах.

Поначалу Юсефина не принимала в этом участия, то есть она присутствовала, но ни в чем не признавалась. Потом тоже стала каяться. Труднее всего было вспомнить какой-нибудь грех, а уж покаяться потом — пара пустяков. После обмена обязанность каяться перешла к Юханнесу, а когда приехала Ээва-Лиса, ей тоже пришлось каяться вместе с остальными. Мама каялась главным образом в том, что сомневалась в Спасителе и не имела достаточно крепкой веры, но, когда я однажды признался в том же, она резким тоном запретила мне так говорить. И в следующий раз пришлось снова выискивать какой-нибудь настоящий грех, хотя мама продолжала каяться в сомнениях и недостаточно крепкой вере. Менять признания, по ее мнению, было ни к чему. Об этом тоже нечего языком чесать. Из окна виднелся желтый дом, где висел Спаситель, а на раме картины белела зазубрина.

Над крыльцом красовалась веранда. Вполне пригляжая веранда. Летом ее увивал хмель. Мне нехорошо. Желтый цвет молельного дома был ярковат, но об этом молчали. Словно бы до этого никому не было никакого дела. Странно. Как-то раз, еще до того, как нас обменяли, мой лучший друг, которого звали Юханнес, привязал к веранде бельевую веревку, и я, уцепившись за нее,

спрыгнул вниз, как будто убегал от страшной опасности: Юханнес, отойдя к яблоне, издал короткий громкий предупреждающий крик, и я прыгнул, спасаясь от преследователей. Веревка обожгла ладони, и кожа на руках прямо-таки сгорела. Шрамы как бы остались до сих пор.

Внизу у дома были заросли шиповника. Они тянулись вдоль фасада.

Мы собирали грибы, по большей части сморчки. Их следовало предварительно потушить. Слово «тушить» с тех пор стало означать тушу, гниющую плоть, и смерть. Умирать надо было, как я уразумел, чистым и белым, вроде мухи между рамами или птицы, а не тушеным, как сморчок или как Арон Маркстрём из Оппстоппета, когда его обнаружили. Руне Ренстрём ребенком все это видел и рассказывал, что Арон был похож на раздувшуюсядохлую рыбину. Руне приходился мне двоюродным братом, если считать, как обстояло дело перед обменом.

Папа построил дом. Еще не закончив его, он посадил во дворе яблоню. Ребятня из Эстры повадилась красть плоды; яблоки у нас редко кто видел, но, поскольку папа умер таким молодым, никто не удосуживался говорить, что сажать яблоню довольно-таки удивительно.

Больше нет сил рассказывать о доме Юханнеса. Слишком больно. Почему это причиняет такую боль? Сейчас расскажу о хозяйственных постройках.

4

На участке было еще два дома. Отрицать не стану.

Перво-наперво, стало быть, зеленый дом, маленький, хоть и ладный, и выкрашенный в зеленый цвет, с внутренней лестницей, на верхней площадке которой слева стояло отхожее ведро, той самой лестницей, где изгнали Ээву-Лису. Самая большая из хозяйственных построек была, собственно, летним домиком. У одного торца росла осина, в нее ударила молния, только-только миновала зима, и я перепугался. Летний домик тоже построил папа.

Всего за месяц до смерти он купил скрипку. Играть на ней он, скорее всего, так и не научился. На посмерт-

ной карточке он больше похож на меня, чем на Юханнеса, но, может, фотоаппарат просто был неисправен. Я долго думал, что скрипка пропала, но позднее обнаружил ее в комнатке рядом с кухней в библиотеке капитана Немо на «Наутилусе» перед тем, как камеры наполнились водой и я покинул судно.

Я взял скрипку с собой.

Летний домик выглядел довольно странно. Он казался вроде как пятиугольным, из-за того, что дорога, которая шла мимо молельного дома и потом поднималась вверх к горе, где находилась пещера мертвых кошек, — что эта дорога как бы сжималась. Вот и летний домик, когда его строили, оказался как бы стиснутым. В деревне этого не понимали, но ежели постройка стиснута вначале, то она остается стиснутой и потом. И получается пятиугольной именно по этой причине. Дорога в общем-то была тропинкой, хотя и довольно широкой. В Страстную пятницу за год до того, как нас обменяли, Юханнес пришел ко мне, мы были дома одни, и тут на дороге внизу у ручья появилась свидетельница Иеговы со своим товаром. Мы спрятались на веранде, и свидетельница понапрасну колотила в дверь, потому как она согрешила, продавая свои книги в Страстную пятницу, когда Спаситель висел на кресте и не дозволялось вязать даже салфетки-ухватки, не говоря уж о рукавицах в помощь Финляндии, в которых отдельно вывязывался палец, нажимающий курок, потому что в это время среди людей должны царить покой и печаль.

В общем, все получилось очень увлекательно. Мы лежали, затаившись как мышки. Лежали, смотрели сквозь ветки хмеля на желтый дом за пятиугольным летним домиком и слушали, как она понапрасну колотит в дверь. Она была вовсе не такая уж старая и совсем не похожа на свидетеля Иеговы, наоборот, довольно пригожая на вид, и вечером я ни слова не сказал, что она приходила, стучала и ушла. Не будь она свидетельницей Иеговы, не раз думал я позднее, уже живя у Свена Хедмана, можно было бы открыть дверь и угостить ее булкой и чем-нибудь вкусным, присесть ненадолго и послушать ее рассказы.

Летний домик называли вообще-то домом-кораблем, поскольку он, как утверждалось, напоминал корабль, которого, однако, никто, кроме портовых грузчиков, не ви-

дал. Точно корабль уткнулся носом в пригорок. Ну, вроде бы севший на мель ковчег.

Интересно, откуда явилась эта свидетельница Иеговы.

Прямо над летними постройками, в каких-нибудь десяти метрах, стоял дровяной сарай с встроенным нужником. Первый раз, когда я пришел навестить Юханнеса после обмена, он сидел в нужнике, в котором было два очка и одно детское, на приступке, и читал «Норран» с Карлом Альфредом. И тут на крыльцо с перекошенным лицом выскочила мама и спросила, разрешила ли мне моя мать прийти сюда. Прямо-таки невероятно. Лицо у нее совсем сморщилось, точно печеное яблоко. И вид был безумный, словно она вот-вот чокнется. Но я только призвал на помощь все свое мужество и кротко ответил: да, разрешила. И тогда она ушла в дом. Когда потом мы с Юханнесом пришли на кухню, Юсефина сидела там и поглощала тюрю и кофе, правда, не доела. Хотя вообще была не из тех, кто позволяет себе разбрасываться едой. Совершенно безумный был у нее вид.

Я почти сразу же ушел домой. Непонятно, что у нее, собственно, было на уме.

Нужник стоял на самом высоком месте, прижатый к дороге.

Откроешь дверь в нужник — кстати, вместо туалетной бумаги пользовались «Норран», — усядешься, не затворяя дверь, и перед тобой открывается вид на долину, озеро, болото, вплоть до Русского острова.

Ты словно бы зависал над долиной. Как хорошо было летом сидеть там, не шевелясь, час за часом, любуясь зеркальной гладью озера. Тишина обычно стояла полнейшая, если не считать коров.

Я не раз собирался сходить туда, но после того, как мама — я имею в виду, Юсефина — выскочила на крыльцо с совершенно безумным видом и не доела тюрю, которую, может, пришлось выбросить, я подумал, что это ни к чему.

Помню, до чего хорошо было в нужнике, тихо-претихо, если не считать коров. Вот так обстояло дело с нужником. Хотя, может, и не все можно рассказать. На «Наутилусе» нашлись и другие следы того, как было на самом деле.

Юханнес даже и не пытался их спрятать. И в том, что он писал, не было ничего противоестественного и ничего примечательного, не о чем и языком чесать.

Я просто упоминаю об этом, вернусь позднее.

5

О подвале зеленого дома. Запись Юханнеса, из библиотеки капитана Немо.

«В подвале было три отделения. Одно, с земляным полом, использовалось как картофельный погреб. Там было темно, чтобы картошка не проросла: с картошкой дело обстоит так — чем темнее, тем меньше она прорастает. На свету она быстро дает ростки, но сама умирает. По идее темнота должна предохранить от смерти, хотя, если подумать, когда картошке не дают умереть, особой жизни это ей не прибавляет. Во втором отделении, тоже с земляным полом, была устроена кладовка, но там темнота не имела никакого объяснения.

В третьей подвальной части зеленого дома находился колодец, вода в котором содержала чересчур много железа и не годилась для питья. Питьевая вода была только в роднике под зарослями шиповника. Таким образом, если считать с торца, где висела пожарная лесенка, то сперва шла рябина, потом заросли шиповника, потом пригорок, спускавшийся вниз к роднику.

В роднике жили лягушки. Вода там чистая и прозрачная, совсем непохожая на колодезную в подвале. Родниковая вода шла из нутра горы. Родник был всего полметра глубиной, и в нем обитало с десятков лягушек, которых требовалось защищать. Насчет картошки — тут трудно понять, но наверняка дело обстояло так, что темнота делала картошку съедобной, а свет приносил смерть, если только картофель не сажали в землю — тогда свет давал жизнь. Таким образом, картошка в погребе совершенно сбивала с толку, и не стоило особо ломать себе голову над этим, ни к чему.

А вот лягушек надо было защищать, тут не о чем и языком чесать.

Таким вот образом ты становился чем-то вроде по-

кровителя животных, потому что не всем известно, как защищать лягушек. Наклоняясь над родником, чтобы зачерпнуть ведром свежей родниковой воды, надо было вести его боком, как бы управлять им, чтобы не зачерпнуть в ведро лягушек и не вытащить их наверх, где бы их ждало неопределенное будущее.

Лягушки ведь очищали воду, в подвале была кислая колодезная вода и непроросшая картошка, которой надо было жить, но не дозволено умереть, чтобы воскреснуть в этой земной жизни, ежели поглядеть на это так, но вообще-то это были не лягушки, а жабы. Довольно-таки крупные жабы, ничего примечательного, на что стоило бы обращать внимание, они не говорили. Головастики забавнее. Головастиков можно было хранить в стеклянных банках, только без крышек. Возьмешь головастика, у которого часто еще хвост не отпал, в руку, и он начинает по-особому трепыхаться. Юсефина Марклюнд, доставшаяся мне в матери, не понимала, что лягушек надо защищать.

Она много раз вычерпывала их ведром наверх, где их ждало неопределенное будущее. Кто знает, оставались ли они тогда в живых или помирали. Протесты помогали мало или вовсе не помогали, и все-таки мне кажется, что лягушки находили дорогу обратно. Неизвестно только как.

Но у них небось была привязанность к дому. Неважно, вытаскивают тебя наверх или нет, а привязанность к дому так легко не пропадает.

Я знаю, Юсефина, моя мать, отрицала даже перед деревенскими, что у нас в роднике живут лягушки. Несмотря на то, что лягушки, как известно, очищают воду. Очень важно, чтобы вода была чистой. Чистота ведь важна. Вода была прозрачная. Требовалось защищать лягушек от тех, кто не хотел этого знать. Тот, кто говорил, что лягушки уродливые, или бесполезные, или противные, не понимал, что даже самые осклизлые, и это в соответствии с Посланием к Коринфянам, могут быть полезными, даже, возможно, полезнее.

Можно сказать, что я, таким образом, стал чем-то вроде кровителя животных.

В первом подвале зеленого дома, того, с картошкой, долго хранился кофр. В один прекрасный день — 24 апреля, кстати, — ко мне приехала тетя, мамина сестра,

чтобы забрать кофр. Больше добавить о трех отделениях в подвале зеленого дома нечего».

Она приехала в гости, приехала в один прекрасный день на автобусе и вечером того же дня уехала. Говорили, что это мамина сестра.

Тетка была высокая, худая и шаркала ногами. Между ней и Юсефиной произошел короткий разговор. Он не расслышал всего, но понял, что этим двоим говорить особо было не о чем.

Сестра Юсефины приехала с юга, у нее были хорошие глаза, а сама она была долговязая. Тетка, очевидно, расспрашивала подробности того, что случилось с «хлопцами», как она выразилась на своем южном диалекте, и получила ответ. Хотя это, собственно, ее не касалось. Юсефина отвечала без всякой враждебности или еще там чего. Единственное, что тетке заявили без околичностей, — что по моему поводу разговоры ни к чему.

Я в хороших руках, у Хедманов. Не о чем и языком чесать.

Тетка, с которой я сам встретился всего на несколько минут внизу, у автобуса, когда она уезжала, худая и долговязая, подошла ко мне на остановке, до того, как подъехал автобус, и спросила, я ли это. Этого я не мог и не хотел отрицать. Тогда она наклонилась и без всякого повода обняла меня. Постояла так с минуту — может, правильнее было бы сказать: «прижимая меня к груди», — после чего я пустился наутек. Без особой причины. Но мне не хотелось, чтобы меня застigli в таком положении, вот я и пустился наутек.

Вот так было дело, когда я сам встретился с теткой всего на несколько минут у автобуса, прибывшего из Форсена, то есть со стороны Буртрэска.

Кофр, однако, особая статья. Но он имел больше отношения к Юханнесу, чем ко мне.

С кофром в подвале получилось так — она когда-то оставила его там, уезжая на юг.

Что-то произошло. Трудно сказать, что именно. И она уехала на юг. Но перед отъездом явилась с кофром — по-моему, из Булидена — и попросила разре-

ния поставить его в картофельный погреб. И на это Юсефине было нечего возразить. Потом она уехала. И вернулась — кстати, это случилось 24 апреля.

Она чуточку похудела, но была все такая же долговязая. Если я правильно запомнил нашу короткую встречу у автобуса, у нее были уродливые ботинки, но довольно добрые глаза.

Не понимаю, чего ей взбрело в голову взять и наклониться ко мне.

В подвале, у кофра, ничего особенного не произошло.

Юханнес запомнил очень хорошо, пишет он, что ничего не произошло.

Она спустилась в картофельный погреб. Возле картошки, которой не позволялось идти в рост, стоял ее кофр. Скорее даже, сундук. Эта самая тетка спустилась вниз, а Юханнес пошел с ней. Она отыскала картофельный погреб. После чего Юханнес включил лампочку, свисавшую с потолка. Там и стоял кофр или, скорее, сундук. И тетка достала ключ, сунула его в замок и отперла.

И на минуту застыла, уставившись в кофр.

Он спросил, что там. Она не ответила. Он наклонился и заглянул внутрь. Там лежало что-то полотняное. Может, платье, может, кружева. Как следует не разглядеть.

Она стояла и смотрела. Долговязая, хоть и пригожая с виду, во всяком случае, такой она была у автобуса, когда уезжала. В уродливых ботинках, но с добрыми глазами. Ей, наверно, было за сорок. Кофр простоял там много лет, однако в деревне ее не видели давным-давно. Но все более или менее уверенно сходились в одном — она незамужняя тетка, уже в возрасте, хотя и моложе Юсефины, которая, похоже, не особенно ее жаловала, хотя это вовсе неважно, как она сказала.

Потом тетка увидела, что сверху лежит письмо. Письмо, наверняка адресованное ей, потому что она взяла его, распечатала и молча, про себя, прочитала. А затем прочитала еще раз. После чего фыркнула, словно бы возмущенно, и сказала: «Кто бы говорил!!!» — и скомкала письмо.

Вот и все. Все, что ему удалось узнать. Он был чуток озадачен.

В тот же вечер она уехала. Эва-Лиса помогла ей до-тащить кофр до автобуса.

Там-то я и встретил ее. И она обняла меня, на глазах у Эвы-Лисы.

А потом автобус ушел.

Там было и что-то вроде подведенного под крышу сто-ла для бидонов с молоком. Кофр — что-то вроде сундука, стол — что-то вроде дома, тетка фыркнула и сказала «кто бы говорил». Многое было «что-то вроде» или «как бы».

Эва-Лиса, когда приехала, поднялась с дороги к зе-леному дому.

Тетка фыркнула.

Чувствую себя совершенно опустошенным.

Так обстояло дело с приездом Эвы-Лисы.

Но все началось, должно быть, намного раньше — что ни говори.

Я так и не узнал, почему тетка эдак фыркнула.

Была, поди, причина.

Надо было бы повнимательнее смотреть на всех, у кого добрые глаза, чтобы понять, почему они фыркают.

Сегодня ночью метель.

2. Необъяснимая ошибка

Эва-Лиса в снегу по колени стоит,
боль терзает, луна холодна.
Видит, вон там нужник приоткрыт,
кругом никого, она одна.

Снег на полу. Мороз трещит.
Дверь притворила. От боли нет сил.
На пол присела. Дом мирно спит.
Никто не увидит мой срам и стыд.

1

Он разбрасывает вокруг записочки с ободря-ющими призывами. В кладовке «Наутилуса» под пачкой масла, половина которой ушла на тюрю, лежит записка. «Надо защищать лягушек».

Само собой. Он ставит себе в заслугу то, чему научил его я.

Только вот прятать под пачкой масла ни к чему.

Когда у тебя что-то отнимают, чувствуешь себя несколько обзадаченным.

Сперва у меня отняли мою маму, потом лошадь, потом Ээву-Лису, потом мертвого младенчика, потом зеленый дом.

Поразительно, как бывает больно, когда у тебя отнимают маленький домишко. Хотя он, конечно, был ладный из себя, и наш. Вот считаешь что-то своим, нашим, да, собственно, почти все считаешь своим, нашим. А оказывается, вовсе нет. Это как-то обзадачивает. Ставит в тупик.

Незачем было ему только из-за этого наказывать дом.

Сам я все детство чувствовал себя обзадаченным. Считал, будто можно спасти хотя бы дом, ежели тщательно нарисовать его карандашом, я имею в виду, плотницким карандашом, как папа. И потом забрать рисунок с собой.

Описью спасенных вещей называл папа стихи в блокноте. Это он придумал. Таким образом можно немало спасти, ежели ты в крайней беде, в пещере мертвых кошек.

Первое, что я подумал, обнаружив его на кухонном диванчике в «Наутилусе» с недоеденной тюрей и разбросанными по всей комнате текстами и записками, — что он пригож с виду.

Какие-то домашние словечки въелись точно намертво. «Пригожий», «чокнутый», «обзадаченный».

Сперва псалмы казались мне делом безнадежным — ведь их надо было учить наизусть и беспрестанно повторять. А потом необходимость повторения и возможность не думать принесли как бы чувство надежности.

Когда я просыпаюсь по утрам, и на дворе туман, и птицы спят, мне делается легче, если я повторяю.

Пригожий. Я часто размышлял, хотелось бы мне быть пригожим или же только предателем, как он. Хотя

словечко «пригожий», может, было болевой точкой в каком-нибудь стихе псалма, а потом пришлось взять за компанию и другие слова в других стихах, те, что не причиняли боли.

2

Впервые я встретился с Юханнесом Хедманом, как его в то время звали, когда ему было года два и жил он у Хедманов. С тех пор, вплоть до обмена, мы почти не расставались. Потом наступил перерыв — приехала, чтобы он так не нервничал, Эва-Лиса. Тогда мы стали играть с ним больше на расстоянии.

Потом произошло все это.

А в промежутке, стало быть, случился обмен. Я сперва расскажу эту историю, чтобы развязаться с ней. Сперва надо развязаться с тем, что было не самым ужасным, и покончить с ним.

Поначалу в эту историю верили немногие. Потом поверили все, кроме Хедманов.

Собственно, хуже всего пришлось Хедманам. Сперва у них был Юханнес, такой пригожий с виду, потом только я, потом Альфильд Хедман стала лошадь, а под конец у Свена Хедмана не осталось почитай ничего. И думаю, он не видел никакого выхода.

Ужасно, когда человек не видит выхода. Он потому, верно, и навестил меня, когда я еще не раскрывал рта, и похлопал по морде, словно я был лошадь. Но может, он просто понял, что я не уверен, человек ли я все еще или уже нет.

Хотя разве животные хуже.

Мне кажется, все начали бояться Свена, Альфильд и меня, поскольку мы были не совсем уверены, люди ли мы. А ежели ты сам не уверен, как же могут быть уверены другие. Впервые — после обмена — я почти почувствовал себя человеком у автобуса, когда долговязая тетка прижала меня к груди, пусть и на глазах у Эвы-Лисы. Единственное объятие за всю мою жизнь. Если понастоящему подумать. Правда, это чуть было не повто-

рилось, когда я сказал Ээве-Лисе то самое, о тюльпанах, которые росли вниз головой.

Автобусная остановка, объятие, долговязая тетка — и это должно представлять собой пик жизни. Невероятно.

Но дело, во всяком случае, обстояло именно так.

Все началось январским днем 1939 года, и мороз трещал такой, что отхожее ведро на втором этаже, то самое, что стояло на верхней площадке внутренней лестницы, замерзло в желтый лед. Хотя стояло в доме. Юсефина жаловалась, что в те дни, когда приходилось ломом долбить лед в отхожем ведре, на размышления времени не оставалось, и тепло, бывало, уходило на ветер, ворон обогревало, потому как им ведь несладко. Она и за ворон переживала; когда отхожее ведро промерзло, оно как бы определяло, насколько холодно на улице.

Я прекрасно помню. Меня, четырехлетнего, послали опорожнить отхожее ведро в снег. Было воскресное утро. Проповедник не придет, велосипедные шины небось замерзли, так что Ямес Линдгрэн будет читать Русениуса. Мама взяла с собой вязаную муфту, хотя идти-то всего — только двор пересечь.

На мне валенки. На снегу отливает желтым замерзший кусок мочи. Настроение смурное, впрочем, наверно, не только у меня — чего уж тут веселиться, коли предстоит слушать Ямеса Линдгрена, читающего Русениуса, ну да это продлится часа два, не больше, поскольку молельный дом не отапливался. И все же надо запастись терпением.

Тогда я не знал, что это чтение изменит мою жизнь.

Жену Свена Хедмана звали Альфильд, и, как говорили, она была из пришлых. Может, конечно, и из валлонов Хёрнефорса, но, по общему мнению, все-таки из пришлых. Пришлые — народ вороватый, это всем известно, так что Свену Хедману вовсе не сладко было, когда он привел эту женщину, хотя в то время она еще была красивая.

Да и ее было жалко. Она ведь не могла как следует говорить, но не потому, что, возможно, была из пришлых или из валлонов. По общему мнению, она наполовину онемела, когда родила Юханнеса. Так что в этом смысле виноват был он, а потом, после обмена, в деревне считали, что вину можно переложить на меня.

Немота поразила ее в больнице. До этого она болтала, как все остальные, а ее прекрасный голос был хорошо слышен в желтом молельном доме. Не будь она, может, из пришлых, стала бы всеобщей любимицей. А так к ней относились как бы выжидающе.

После родов в 1934 году она наполовину онемела, но красивый голос сохранила. Когда она пела псалмы, Божьи слова вылетали у нее изо рта четко и ясно. Прямо чудо какое. И для нее, должно быть, утешение. Не стань она потом моей матерью, она бы, наверно, в общем-то, мне нравилась.

Альфилд вернулась домой из больницы Бурео с ребенком, которого окрестила Юханнесом. Вскоре, однако, в деревне начали судачить, что, мол, с ребенком, которого она окрестила Юханнесом, не все ладно. Ребенок, в отличие от нее, был совсем не похож на пришлых. Можно сказать, просто пригожий на вид, с голубыми глазами и светлыми волосами, правильными чертами лица и красивой формы зубами. Смешливый, с веселой открытой улыбкой, он скоро заделался всеобщим любимчиком.

В деревне пришли к выводу, что с внешностью у него не все ладно, именно из-за ее внешности. На Свена Хедмана он тоже не походил. Но поскольку никому не хотелось оспаривать материнство Альфилд, через какое-то время посчитали, что особо над этим ломать голову не стоит. Это вновь явился на землю Сын Человеческий, пошутил Эгон Фальман из Эстра-Хьоггбёле, который был не верующим, а сапожником; шутку сочли неподобающей, но говорили, что он именно так и сказал.

Мы жили в полукилометре от Хедманов, по другую сторону долины. Как ни странно, но я был довольно похож на Альфилд Хедман. С этого-то все и началось. Вот как обстояло дело январским днем 1939 года, когда замерзло отхожее ведро, проповедник не приехал, Ямесу Линдгрёну предстояло читать Русениуса, а моей жизни — круто измениться.

Вообще же в деревне не было пришлых, слава Богу.

Зато в Форсене, который располагался между Шёном и Эстра-Хьоггбёле, пришлые были. Там находились «Консум»¹, называвшийся, собственно, «Коппра», и ме-

¹Сеть кооперативных магазинов.

сто для пришлых. Место это представляло собой дом, который стоял на Клеппене, в направлении Шеллефтео. Здесь постоянно появлялись пришлые из Финляндии.

Приходя, они принимались лудить. Это, пожалуй, было похуже, чем появление свидетельницы Иеговы в Страстную пятницу. Ничего никому вообще-то лудить не требовалось, вплоть до того дня, когда в том дворе, где пришлым грубо отказали, случился ночной пожар.

С тех пор почти всем захотелось, чтобы им что-нибудь полудили. То, что одно связано с другим, сомнений практически не вызывало, хотя пожары возникали не во всех местах, где пришлые получали решительный отказ.

Не все было ладно с Альфильд, Эввой-Лисой и пришлыми. Капитан Немо в своей библиотеке отметил это.

Хотя тут-то и призадумаетесь. Ведь все это в любом случае не касается Юханнеса, светлокожего, с веселой улыбкой и всеобщего любимчика.

Судя по всему, он провел изыскания.

«Дед Эвы-Лисы по матери, как она сама говорила, хотя в семье не было и намека на цыганскую кровь, был специалистом по быту цыган и составил словарь тайного языка цыган. На вопрос относительно этого языка она промолчала. Поскольку цель такого языка состояла в том, чтобы защитить цыган от угрозы со стороны общества, то они были обязаны хранить тайну. Пять лет он колесил по югу Финляндии, среди финских цыган, и с помощью молодого цыгана, который называл себя Пало, записывал тайны.

Когда словарь напечатали, выяснилось, что его автора обвели вокруг пальца. Все, что он записал — слова, состав, вся эта занесенная в картотеку тайна, — оказалось обманом. Он-то думал, что раскрыл систему, а парень хотел защитить самого себя и поэтому изобрел язык для своей защиты. Пало сочинил для него стих, чтобы спастись самому. Когда все раскрылось, ее дед сбежал от великого позора в северную Аргентину, в Мисьонес. Там-то и умерла ее мать при странных обстоятельствах,

в то время как дед спрятался в небольшом местечке под названием Гуарани, рядом с бразильской границей.

Запись тайного языка, однако, сохранилась у того самого паренька Пало, который, таким образом, дав фальшивые обещания, сам его и создал».

Я не знаю, как она попала к нам.

Потом мне пришло в голову, что есть ведь много людей, которые не совсем люди, и они, наверно, держатся вместе.

Для этого не нужны тайные языки. А может, тайный язык как раз и нужен.

Но нет, но нет.

У некоторых видов альбатросов, птиц, которые намного больше и сильнее, чем Эва-Лиса и я, существует так называемый «синдром Каина». Птица сносит два, иногда даже три яйца. И высиживает их по мере того, как сносит. Таким образом, птенцы вылупляются с промежутком в несколько дней. И старший птенец заклеывает до смерти младшего. Никто не знает почему.

И пища у него есть. И любовь.

В таком случае я — странный и необычный птенец. Меня он заклевал до смерти через шесть лет после того, как я появился на свет, и несмотря на то, что вылупились мы одновременно.

Что же тогда удивительного в том, что я лишил жизни своего убийцу.

3

В то воскресенье стоял жуткий мороз, но устье ручья, как всегда, было свободно ото льда. Далеко вокруг воняло тухлыми яйцами. Наверно, было градусов тридцать пять.

Низко, всего пальца на два над горизонтом, висело полуденное солнце.

Мама прихватила с собой вязаную муфту. Не вынимала из нее рук и в молельном доме. Все сидели в верх-

ней одежде. Изо ртов шел пар, так что Спасителя на картине почти и не видать было.

Перед нами сидели Альфильд Хедман и Юханнес.

В дальнем конце молельного дома, рядом с железной печкой, было очень жарко. В середине — прохладно, потом — совсем студено. Картина представляла Сына Человеческого, стирающего руки над несчастными детьми, а на раме белела зазубрина. «Иисус любит всех детей» — так назывался тот псалом, на мелодию которого Юханнес написал свои лживые стишки про Ээву-Лису.

Тетя Ханна сидела по другую сторону прохода. И все время пристально нас разглядывала.

Через два часа все закончилось, потому как стояла такая холодина, что у Ямеса Линдгрена совсем окоченели ноги и он начал ими притопывать, так что стало трудно следить.

Все пошли по домам, тетя Ханна тоже. Потом нам рассказали, как было дело. Она ушла домой в большой задумчивости. И ночью не сомкнула глаз, моля наставить ее. На следующий день принялась обзванивать других горячо верующих людей, знавших хоть что-то о том, что произошло. Под конец позвонила и маме, которая после этого встрети-лась с тетей Ханной и долго с ней говорила.

И вот наконец Юсефина вышла из спальни, где они сидели, чтобы никого не беспокоить. Лицо у нее было совсем заплаканное, но мне она ничего не сказала, хотя я и недоумевал.

Ей, верно, пришлось рассказать, как обстояло дело в тот раз, в больнице. И тогда худшие опасения тети Ханны подтвердились. И пришла великая беда.

Больница в Бурео была расположена весьма удачно.

Внизу, всего в каких-нибудь ста метрах, текла река, а по склону росли березы. Но реку было видно. Окна всех палат выходили на юг.

Получилось так, что Юсефина и Альфильд Хедман родили в один и тот же день. Одна на пять часов, или около того, раньше — так говорили. И лежали они в одной палате.

Красивая стояла осень, листья пожелтели, но еще не облетели, и снег пока их не тронул. На следующее утро в больничную палату номер два вошла акушерка, фру

Стенберг, с двумя младенцами на руках. Оба мальчики. Она спешила, но была в веселом расположении духа. И сказала, своим шутливо-строгим тоном, который иногда можно было неправильно понять, что пора кормить.

И чей, собственно, этот вот малыш.

Потом о ней говорили, что это стало самым большим несчастьем в ее жизни, и она с ним ушла в могилу, и так никогда по-настоящему не пришла в себя, и много чего другого грустного говорили. Ее помнили прежде всего из-за этой вот беды. Но в то время она по большей части была веселой. Позднее, когда этот случай обошел всю Швецию, сперва маленькими кругами по приходам, потом круги все расширялись, пока наконец могучей волной не захлестнуло аж Стокгольм, и тамошний народ, читавший газеты, все как один спрашивали, как, собственно, могло такое произойти. «Вопрос, занимавший умы всех» — так писали в газетах.

Но с тех пор мой ум занимал лишь один вопрос. Не как это произошло, если произошло. А действительно ли я человек.

И в таком случае: кто.

Акушерка, которую потом уже не так любили, вошла в палату и спросила, какой младенец чей.

И Альфильд Хедман, которая могла по большей части лишь показывать пальцем, потому что с ее голосом вроде как случилось что-то необъяснимое, показала. Узнать собственного ребенка вполне ведь естественно. И ей отдали Юханнеса.

Так вот все и пошло, вплоть до той захватывающей дух минуты, когда тетя Ханна, не слушая, как и все остальные в молельном доме, Русениуса, и изо рта у нее валил пар, под взглядом друга детей на картине с зазубриной на раме, внезапно уставилась на двух мальчиков и задалась вопросом, не перепутали ли их все-таки.

И наавтра сама задала этот вопрос.

И все началось.

Зачем это было нужно. Ведь могло бы и так сойти.

Когда путают детей, тут ничего странного, говорили мне потом.

Подменышей ведь пруд пруди. В «Книге джунглей», к примеру, Маугли. Почти во всех трогательных историях речь идет о том, как какой-нибудь славный малыш, вообще-то королевский ребенок, потерялся. Или живет среди волков. Живя среди животных, он мог перенять мысли и чувства животных, но конец все равно был хороший. В конце концов он возвращался домой. Иногда в королевский дворец.

Приходилось нелегко, но герой возвращался, как блудный сын. И там была великая радость.

А мне пришлось покинуть зеленый дом.

Собственно говоря, я в жизни ненавидел всего одного человека. И я его едва знал. Это была тетя Ханна.

Ну зачем это было нужно. Они украли у меня мою маму, и дом моего папы, и летний домик, и нужник, и родник, и лягушек, и рябину — дерево счастья.

Если тебя обменяли, ты никогда не можешь быть уверен, что ты настоящий человек. По крайней мере, не так твердо, как раньше. Слишком поздно я понял, что мне надо умереть, воскреснуть и прибиться к тем, кто не совсем настоящие люди — может, лошади, может, кошки на покрытой лаком спинке кровати.

Тетя Ханна, похоже, никогда не сомневалась, что она человек. Но она пристально смотрела на нас в молельном доме — и преобразила меня.

Если бы Эва-Лиса была с нами в тот день в молельном доме. О, если бы только.

Она бы сделала знак другу детей на картине. Или, если Ему было некогда, позвала бы капитана Немо, благодетеля всех, кто терпит беду.

Но нет.

4

Пошли бесконечные переговоры. Я их так называю.

Из звеньев ковали цепь, как в дедушкиной кузне. Тетя Ханна, Юсефина, пастор, жена которого имела чемо-

дан, и доктор, который глядел в бумаги, и акушерка, которая совершенно не могла вспомнить. Потом полиция и местный корреспондент «Норран». Ему платили по-строchno. И все они ковали цепь.

Хуже всего было, когда это появилось в газете, но без имен. Тогда я сразу все понял.

Как стало хорошо на душе, когда я узнал, что имеют в виду меня, хотя имена не назывались. Носом чуешь, что речь о тебе.

Знай я об этом в то воскресенье, может, спрятался бы в объятиях Сына Человеческого. Пролез бы сквозь лак на картине. К Тому, Кто, как говорят, помогает всем детям. А я просто сидел рядом с мамой, спрятавшей руки в вязаную муфту. Ничего не помню. В таком случае все равно можно вообразить, будто она легонько провела рукой по моим волосам, чуть задумчиво, словно была поглощена Русениусом, и все-таки задумчиво погладила меня по голове. Так, совсем легонько.

Воображая, ты, собственно, ничего не теряешь. Хотя она ведь была не из тех, кто гладит по голове без всякой надобности. Чтоб погладила тебя, как кошку. Именно в эту минуту тетя Ханна решила, что наступило время вершить правосудие, цепь начала коваться, над звеном занесли молот, железо раскалилось, и я вступил на путь, на котором потерял жизнь.

Это была сенсация, и ей предстояло облететь чуть ли не всю страну, понял я позднее.

По воде расходились круги. Во внутреннем круге, то есть вокруг Юханнеса, меня, мамы и Альфильда, гладь воды оставалась спокойной, блестящей, неподвижной. Вначале. Но потом волна загрохотала повсюду. Во всех газетах, по радио, и в стокгольмских газетах тоже, уделявших большое внимание истории об обмене детей в крохотной захолустной норрландской деревушке. Это, стало быть, мы. Только потому, что они далеко, мы захолустные. Но ведь мы-то были в самом центре. Это они — захолустные.

Как ужасно находиться в самом центре, вообще-то. Мне бы хотелось быть в захолустье.

Пастор провел со мной, по просьбе матери, беседу с глазу на глаз и все рассказал.

Он рассказал, прочитав сперва короткую молитву, уж и не помню о чем, что нас перепутали в роддоме. Просто-напросто оплошали. Но дело поправимо, поскольку правосудие должно свершиться, надо только, чтобы суд сказал свое слово, а шведское правосудие неподкупно. Я не знал, что это значит, и подумал, что это что-то, связанное с коровами. У нас были неправильные матери. А теперь будут правильные. Он ничего не упомянул о доме, а я не спрашивал и нюни не распустил, за что он меня сильно похвалил и закруглил разговор молитвой.

Если бы это хоть был проповедник Форсберг, имевший велосипед с надувными шинами и семерых детей, он привычный.

Это займет какое-то время. Но время лечит любые раны. Я обрету свою настоящую мать, Альфильд Хедман, а Юханнес — свою законную, Юсефину.

О Свене Хедмане не говорили. Но они вроде бы отказались. Поэтому дело в конце концов направили в Верховный суд. Наверно, ничего похожего раньше там рассматривать не приходилось.

Но меня жгло вовсе не то, что я получу, что мне дадут. Совсем не Альфильд и Свен Хедман. Жгло то, что я потеряю. Я ведь потеряю и зеленый дом, и летний домик, похожий на корабль, и дровяной сарай, и нужник с «Норран». И заросли шиповника, и рябину, ту, на которой зимой бывают и снег, и ягоды, и птицы одновременно. И родник с лягушками, которых я больше не смогу защищать.

Пастор спросил, перед заключительной молитвой, есть ли у меня какие вопросы. Я ответил, что нет. За это меня тоже сильно похвалили.

Мамы дома не было, когда пришел пастор.

Я ведь не знаю, что они сказали Юханнесу.

Может, то же самое. Может, и для него важнее всего было не то, что он получит, а то, что потеряет.

Хотя мы про это никогда не говорили. Ни единым словечком не обменялись. А когда после перерыва в не-

сколько лет снова начали играть вместе, ему уже подарили Ээву-Лису, чтобы он не нервничал.

Поэтому я не знаю, что думал об этом мой лучший друг Юханнес, о самом главном событии в его жизни, не считая предательства и того, что случилось на лестнице, когда у него отняли Ээву-Лису.

Но ему-то достался зеленый дом.

На самом деле дом он получил от меня. Его отобрали у меня и отдали ему. А меня передали без ничего. Совсем пустого, как улитку — чуточку слизи, кусочек скорлупки, жизнь едва теплится — словом, ничего особенного. Ежели ты что-то имел и у тебя это отбирают, вот тогда ты понимаешь, что потерял. А коли ты никогда ничего не имел, то тогда и терять это ничего, наверно, не слишком страшно.

Незадолго до того, как все это произошло, и незадолго до того, как тетя Ханна вперила в нас свой злой взгляд в тот день в молельном доме и завела разговор со Спасителем, мне подарили кошку. Но Юсефина ее выгнала, потому что та гадила на плиту. Юсефина считала, что кошке вовсе ни к чему такое делать. Одна-единственная кошка была у меня в жизни. Сперва была, а потом ее не стало. Уж лучше б мне никогда не иметь кошки, тогда, наверно, было бы не так ужасно. Лучше никогда не иметь, лучше никогда ничего не иметь, тогда не делаешься словно чокнутый, когда у тебя это отнимают.

Я хочу сказать: мы вышли из молельного дома, Юханнес и я, тихо радуясь, что чтение Русениуса окончено. Каждое воскресенье у нас делалось радостно на душе, когда все было позади. Каждое воскресенье все вокруг словно бы начинало сиять в ту минуту, когда мы выходили на улицу.

Но не будь этого мучения с Русениусом, которого читал Ямес Линдгрэн, не было бы и радости по окончании чтения. Так же, пожалуй, обстояло дело и с зеленым домом, хотя наоборот.

Мы вышли, солнце зашло, потому что было уже больше часа дня, а на дворе стоял январь.

Я стоял на крыльце молельного дома и каким-то об-

разом находился в середине своей жизни. А было-то мне всего четыре с половиной года.

Однажды я имел и собаку, но только один день, потом нашелся хозяин.

Я уверен, что кошка могла бы отучиться гадить на плитку. Есть что-то нездоровое в тех, кто отнимает то, что у тебя есть.

Мне надо призвать на помощь все свое мужество. Мужество всегда необходимо. Сейчас я расскажу, как нас обменяли обратно.

5

С вероятностью, граничащей с уверенностью, Верховный суд пришел к выводу, что Альфильд Хедман — моя мать.

Юханнеса привели без помощи полиции. Он, по-моему, воспринял все довольно естественно, но я никогда не спрашивал.

Юсефина заявила, при поддержке тети Ханны со злым взглядом, что правосудие должно идти своим ходом. Наверняка об этом было написано что-нибудь в черной библии. Там небось собрано все зло, ежели поискать. Она хотела произвести обмен, при поддержке тети Ханны. Хедманы не поверили Верховному суду, да что они могли поделать.

На пришлого я, собственно, тоже не был похож. Уж тогда скорее на Свена Хедмана. У нас долго и тщательно изучали уши. Что-то там такое с ушными раковинами. Точно ты улитка. А вовсе не человек.

Решение суда было напечатано в «Норран».

Когда прокурор ушел, передав бумаги, которые мама и не подумала читать, хотя это была победа, я принялся обыскивать дом, чтобы сделать как можно более точный его чертеж с указанием расположения разных предметов.

В кладовке у нас лежал рулон своего рода белой бумаги. Когда мама ушла потреться с тетей Ханной, я

отмотал немного бумаги и оторвал кусок длиной с метр. Потом достал обычный карандаш, плотницкий карандаш, который мама сохранила на память о папе — я их по-прежнему так называю. Он носил его с собой в лес, пока еще жил и валил деревья. По-моему, им он делал записи в блокноте.

И на бумаге я начал, плотницким карандашом, составлять подробное описание дома.

Требовалась аккуратность. Нельзя сделать ни единой ошибки. Тогда зеленый дом каким-то образом будет потерян навсегда. Это как опись спасенных вещей с потерпевшего крушение корабля в «Робинзоне Крузо».

Надо было спешить, потому что пастор говорил по телефону очень серьезным тоном.

Мама в те дни все больше молчала. Ну да и я, пожалуй, в собеседники не годился.

Я тщательно вычертил весь дом.

Подвал с картофельным погребом, где картошке не давали прорасти, земляной погреб, помещение с колодцем, где плохая вода, хуже, чем в роднике с лягушками, — подвал легче всего. Его я мог чертить абсолютно спокойно, почти равнодушно, словно какой-нибудь супермен. Лестницу тоже нарисовать просто.

Говорю это совершенно откровенно.

А вот там, наверху, нужно быть точным. Я обмерил шагами комнаты, используя папину старую дюймовую линейку. Интересно, что бы сказал об этом папа, действительно, интересно. Железную плиту я нарисовал во всех деталях — с конфорками, духовкой и бачком для воды. Дровяной ларь, на котором я обычно сидел, пока мама стряпала, и просто смотрел, ни о чем особенно не думая, или думал о войне, если мама до этого рассказала что-нибудь увлекательное из газеты, — ларь я набросал в общих чертах, а поленья только наметил.

Получилось, пожалуй, весьма неплохо, хотя мне было только шесть лет.

С верхним этажом дело обстояло хуже. Это была самая ужасная часть описи спасенных вещей.

Она обнаружила меня на чердаке, когда я как раз закончил опись.

Я вычертил спальню, и очень удачно. Вместо линейки пользовался рейкой. Спальня вышла красивая: верные размеры, окно на нужном месте. Много времени ушло на выдвижную кроватку, на которой я спал.

Ведь на рисунке нельзя было четко изобразить самое важное — внутреннюю сторону спинки кровати в изголовье. Ее старое лаковое покрытие, такое старое, что, может быть, его нанес еще дедушка, если можно сказать «дедушка», — это покрытие совершенно естественно вспучилось, потемнело и потрескалось, и на нем выступили разные фигуры, деревья и леса, и спинке этого было никак не скрыть. Дедушка сперва покрыл ее лаком, и наверняка покрытие держалось очень долго и было вполне нормальное. Но в конце концов на нем проступили фигуры и деревья.

Лучше всего было летом. Ночью совсем светло, и я решал: либо вовсе не засыпать, либо проснуться. Мама храпела, я имею в виду Юсефину Марклюд, но это не имело значения.

Я усаживался поближе к спинке и разглядывал зверушек. Они все были бурые и довольно миленькие. По большей части кошки — отчетливо вырисовывались ушки, а у некоторых и глаза; но были там и птицы, которые перерезали своими крыльями небо над бурными зверушками.

Иногда было нелегко определить, что это за звери. Кое-кто выглядел озабоченным или несчастным, трое или четверо вызывали у меня серьезное беспокойство своими печальными лицами и с трудом сдерживаемыми слезами. Один звериный детеныш совсем бледненький, может, при смерти, точно его папаша был пьяницей, ну а вообще-то трудно сказать, что с ним случилось.

На помощь приходило воображение. Рты у многих кошек, хорошо видимые, нередко шевелились, особенно в самые светлые летние ночи. Кошки словно бы просили совета. Мне казалось, что они в крайнем недоумении. Что они говорили на самом деле, я ведь не знал, но дви-

жение их ртов и глаза были полны потребности убагатворить, и прежде всего того (может, это была собака), кто находился в крайнем недоумении.

А местность была такая, какой ты ее себе и представлял.

Зимой звери тоже, наверно, никуда не уходили, но становились невидимыми. Оставалось только щупать их ладонью.

Я знаю, что все эти животные, проступившие сквозь лак, окружали меня большой заботой. И я их тоже. Мысль о том, что они останутся совсем одни, без благодетеля или советчика, которые помогли бы им в их недоумении, приводила просто в отчаяние.

Юханнес, которому перейдет эта кровать и спинка с беспокойными и растерянными зверушками, наверняка ведь ничего не поймет. Пригожим и всеобщим любимчикам этого не дано. Чтобы понять, и понять правильно, движение ртов животных на лаковом покрытии, надо быть иным.

Я нарисовал спинку кровати. Но без зверей.

Как-то раз мама велела мне взять наждачную бумагу, а потом она полачит, потому что больно неприглядный вид.

Я чуть не умер. Слава Богу, она про это забыла.

Мамину кровать я тоже нарисовал. Как и тумбочку, а на ней таз, кувшин с водой, мыльницу с мылом и полотенца. Нарисовал и стакан с соленой водой.

Оставалось еще два деревянных стула и ящик, где у меня хранились две книги.

Библия лежала на тумбочке. В ящике — «Библия для детей». Она была не такая интересная, как Большая семейная Библия внизу, на первом этаже. С картинками. Включая ту, что изображала всемирный потоп и женщин почти без одежды, которых поглощала вода.

Вид у них был ужасный, хотя и по-своему красивый. Огромная масса воды поглощала их, и потому они и не думали о том, чтобы прикрыться. А в водяной массе образовалась громадная дыра, точно дыра в боку Сына Человеческого, куда можно было заползти и спрятаться.

Туда и засасывало этих неприкрытых женщин на картинке в Большой Библии.

Все легко ложилось в рисунок. Я рисовал, не чувствуя боли.

Последним был чердак.

Что же внести в опись.

Кровать в углу, которая стояла без дела. Доски. Стена, некрашенная, без лакового покрытия и безо всяких зверей. Игральная доска с дырочками, сделанная папой. Она напоминала шахматную доску, но фишки были картонные с крестиком на обратной стороне; папа вроде бы маленько умел играть, хотя это, возможно, считалось грехом. Возможно. Я бы знал, будь он жив и будь он моим отцом (но — Верховный суд). Лопаты для хлеба — большие, в метр шириной, и совсем тонкие, с выжженными каленым железом инициалами. Интересно все-таки, зачем ему понадобилась скрипка. А кстати, где она? Юсефина и ее сожгла? Все сжигалось, а раз так, ну и пусть все сжигается. Ларь с газетами, совсем старыми. Скалка.

Как много всего. Пожалуй, не успею. Времени мало. Доска с дырочками. А была ли скрипка, и почему он ее купил, и почему о нем ничего не говорят. Я хочу сказать, откуда-то он же приехал. Все-таки не Святой Дух.

Скалка. Доска с дырочками.

И тут я сдался.

Я лежал на куче газет на чердаке и хлюпал носом, когда пришла Юсефина.

Сперва она спросила, в чем дело. Потом махнула рукой и больше не спрашивала, хотя я продолжал хлюпать носом. Чертеж, сделанный на кухонной бумаге, скорее даже, на вощеной, валялся на полу, и она проверила, правильно ли нарисовано.

Мама была не из тех, кто может приласкать или погладить по голове без надобности.

Вообще-то она была красивая, я всегда так считал. Но ведь красивым быть необязательно. А когда умер папа, она точно онемела. Была по-прежнему красивая, но немая. Таким образом, я от одной мамы, красивой, но

немой, попал к другой, к Альфильд, не такой красивой, но тоже немой, хотя и по-другому.

Поскольку Юсефина была немая, она не любила рас- точать ласки. И не любила, чтоб ее ласкали. Все это ни к чему, этот урок я выучил.

Может, потому-то я так и испугался в тот раз, когда долговязая тетка обняла меня у автобуса.

Юсефина села на кипу газет и вроде бы жалобно за- ныла, но не вслух.

Интересно, сколько ей тогда было лет.

Она молчала. А что она могла сказать. Все решено, все давно решено.

Хотя ведь я у нее прожил больше шести лет.

Просидев так довольно долго, как бы жалобно ноя, но не вслух, — я уже перестал хлюпать носом, и стало так тихо, что не слышно было даже осин за окном, — она поднялась с газетной кипы, на которой я лежал. Ни словечка не вымолвила. Пересекла чердак и подошла к сахарной голове в углу. Взяла сахарные щипцы и отще- пила кусок. Зажав его в руке, осторожно положила щип- цы и вернулась ко мне.

Интересно, сколько же ей было лет. Мне всегда ка- залось, что она красивая.

Юсефина поднесла сахар ко рту и лизнула, чтобы он стал помягче. После чего прижала его к моим губам.

Я не знал, что мне делать. Я ждал.

Она прижимала кусок сахара к моим губам. Я пере- стал хлюпать носом. На чердаке было совсем тихо.

Она не отнимала руки, просто ждала. Я буду по- мнить это всю жизнь. Помню выражение ее лица. В конце концов я понял, что надо сделать: я раздвинул гу- бы и кончиком языка коснулся белого сахарного излома.

Меня перевозили с помощью прокурора.

Я видел фотографию. Была напечатана в газете.

Идет снег, фотография не в фокусе, может, на линзу камеры попал снег. Фотография не в фокусе, но все рав- но видно, как они несут меня и как я, в объятиях проку- рора, захожусь в отчаянном крике.

Зачем мне обвинять его в пожаре. Я и не обвиняю, больше уже не обвиняю.

У него, очевидно, не сошлись концы с концами, или же он и не пытался свести все воедино. Наверно, чересчур долго просидел взаперти в библиотеке подводной лодки. От этого делаешься словно бы чокнутым.

Никогда я не расскажу, как он пытался наказать зеленый дом.

Палачи, жертвы и предатели.

Сигнал.

От него ко мне, с края вселенной, доносится тиканье, таинственные послания о жизни. «Сигналы с мертвых звезд», писал он, когда хотел быть особо обстоятельным. «По-моему, тогда-то я и умер» — о той, которую у него отняли.

Поразительная фиксация на смерти в живом человеке.

Он сбежал из больницы, проделал весь путь и попытался сжечь дом и себя самого. Хотя вышло не так удачно, как он надеялся.

«Я стоял у окна спальни и смотрел на долину. Все было так, как и должно было быть, снег и луна сияли белизной. Повалил дым. Я представлял себе это иначе — вроде как бы гореть, чтобы это не причиняло боли, укутанным в снег, словно в вату, под завывание телефонных проводов на морозе, песню, идущую с края вселенной, а перед глазами заснеженная рябина и птицы на ней. Но песни не было, только дым валил, и меня спасли, хоть я этого не хотел и сопротивлялся. Все получилось не так, как мне хотелось.

Казалось, я все запомнил неверно. Пригорок, спускавшийся к роднику, плоский, как блин, лягушек, которых надо защищать, нет, чердак с «Норран» опустошен. Нельзя наказать дом и нельзя заставить его перестать жить, если он того не хочет. Коли кто не заслуживает смерти, ему в ней отказывают. И приходится продолжать. Необязательно заслуживать милость. Но, может

быть, смерть надо заслужить, иначе бы ты не мог жить. Всегда есть что-то получше смерти, сказал осел. Идем, Красный Гребешок, продолжим путь. Поэтому-то они пришли и спасли меня».

Шторм кончился.

Во время шторма мимо моего окна медленно пролетали чайки, их сдувало ветром, а они смотрели на меня с легкой печальной улыбкой и что-то, почти беззвучно, шептали.

Ты помнишь нас, говорили они. С покрытой лаком спинки кровати. Мы все еще пытаемся, не сдаемся. Шторм отшвырнул нас назад, но мы продолжаем полет.

Сейчас море дышит.

Нынешние лето и зиму я живу у моря, на самой южной границе Швеции. Подальше от всего, что случилось, но в границах. Так можно подытожить.

Словом, я свожу воедино, в пределах, но у границы.

Проснулся ночью с высокой температурой, видел хороший сон. Тело ходило ходуном, но через несколько минут я успокоился. Как тогда, перед обменом, когда у меня подскакивала температура. Ночью я обливался потом и звал Юсефину. И она на цыпочках пробиралась ко мне в темноте, чуть ли не хныча от жалости, потому что в такой темноте ей не надо было стыдиться.

Простыни от жара — хоть выжимай. И она зажигала лампу, меняла простыни, кальсоны, тоже намокшие, и нижнюю рубашу. Делалось сухо, и она гасила свет. И я лежал совершенно спокойно и смотрел в потолок, где белым бесшумным тихим пожаром полыхал снежный свет. Лесные звери на спинке кровати спали, ввинтившись в свои сны, как птицы на воде. И я тоже засыпал.

Может, вот такой будет и смерть в конце: не та смерть, что приходит в жизни, а в самом конце. Мама поменяла простыни, снова стало сухо и тепло, птицы спят, греет снежный свет, и я могу заснуть.

Я был довольно спокоен с тех пор, как нашел его в библиотеке капитана Немо. Несколько не в себе, именно потому, что спокоен.

Спал долго.

К вечеру накатил с юга черный дождь, он навалился быстро растущей стеной над горной грядой побережья, нещадно хлеща, прибил к земле траву и бесшумно уполз вверх и на север; небо очистилось, воцарилась тишина.

Я поднялся на гряде. Далеко на юге, словно тенью закрывая горизонт, виднелся Борнхольм. Медленно-медленно дышала вода, странно черная, почти как в кратере вулкана Франклина.

В тот вечер я гулял несколько часов. Нашел котенка, без признаков жизни. Здесь полно диких кошек. Котенку было, наверное, не больше месяца от роду. Он неподвижно лежал в траве, мордочкой к морю, с закрытыми глазами. Шубка промокла насквозь.

Я чувствовал, как бьется и бьется сердце.

Я отнес котенка в дом. Глаза закрыты, он упрямо отказывался открывать их, хотя по возрасту и мог бы. Вот так же спали и кошки со спинки кровати, но они просыпались, когда я звал их. Чаще всего они звали меня. Мне до сих пор не хватает тех кошек.

Из глаз котенка сочился гной. Я попытался открыть их — и преуспел. Птицы успели раньше, глаза были выклеваны.

Вот так.

Перевалив гряде, я спустился на берег.

Наступили сумерки, из прибрежных камней я выстроил для котенка последнюю норку, положив на дно плоский камень. И на этот плоский камень опустил котенка, вот как надо бы убивать котят. И я бы тогда тоже понял, какой бывает смерть: практичной, без сантиментов, быстрый безболезненный конец.

Тут не идет речь о выборе. Быстрая смерть и внутренняя смерть незнакомы друг с другом. Они не знают друг о друге и не несут друг за друга вину. Котенок, крепко зажмурив глаза, сидел на дне ямы.

Я смотрел на котенка. Сколько же лет прошло. Как трудно было все свести воедино, и как необходимо. Взяв камень, я выронил его над котенком.

Как я постарел, убегая от зеленого дома. Поверх большого камня я набросал другие камни. Холмик был почти не заметен.

Я двинулся на запад через гряды, к камням Але. Над морем повисла юная ночь, Борнхольма не видно. В траве полно улиток, я слышал, как они хрустели под моими подошвами. Юханнес не захотел остаться со мной и не вернулся. В конце получилось не так, как надо. Под ногами хрустело, и сумерки были наполнены невероятной красотой и совершенно обычной смертью.

Все началось с обмена.

Сегодня ночью я подведу итог. Юсефина была такая пригожая, когда меняла простыни, а когда я вернулся после обмена, не захотела разговаривать со мной.

Знаки.

Послание: «Нам надо намного дальше».

Сигнал.

До чего тиха сегодняшняя ночь.

Там, на просторе, спят птицы. Звери со спинки кровати еще не зовут меня. Может, не нуждаются в благодетеле, потому что пока не пришла крайняя нужда.

II. ПРОИСШЕСТВИЕ С ЛОШАДЬЮ

1. Альфильд

Бог всех деток приголубит,
мой не хуже, пусть ублюдок.
В церкви я на днях была,
живота скрыть не могла.

Ээва-Лиса враскорячку,
на полу — как в леднике.
Хоть Спаситель бы родился
в этих яслях-нужнике.

1

Когда прокурор принес меня в мой новый дом, на мне были новые валенки, а его сопровождали фотограф из «Норран» и еще один из стокгольмского иллюстрированного еженедельника, который только ради этого приехал поездом из Лулео. Прокурор нес меня не всю дорогу, лишь первые пятьдесят метров вниз с пригорка. Потом я шел сам.

Нас встретил в кухне один Свен Хедман. Альфильд хоть и была дома, но она совсем притихла и пропела, на мелодию «Когда засияет заря Рождества», что не хочет показываться на глаза фотографам.

Четверть часа спустя мы остались втроем. Мне положили на плоскую тарелку каши из ржаной муки, густо приправив ее мелассой. Ели только мы со Свеном Хедманом. Он эдаким добреньким голосом уговаривал меня поесть. Ясное дело, они мне не понравились.

Он небось был напуган и приготовил то, что умел. В зеленом доме мы никогда не ели мелассу, она считалась кормом для коров, и зря, меласса ничуть не хуже патоки и дешевле. Юсефина и есть Юсефина, сказал много позднее Свен Хедман, чересчур благородная для мелассы. На что я ничего не ответил.

А вообще-то он старательно избегал говорить гадости о ней. Единственный раз сорвался, по поводу мелассы.

Ясное дело, он был напуган.

Верховный суд, высшая юридическая инстанция государства, постановил, что он, бывший случник, совершил ошибку, и приговорил его ко мне. В этом, наверно, есть что-то торжественное — когда Верховный суд приговаривает тебя к ребенку. Ему бы заважничать, а он лишь замолк. Альфильд еще раньше замолчала. Кроме тех моментов, когда пела. Но у нее, верно, были не все дома.

Многие, пожалуй, считали, что для такого торжественного несчастья Свен Хедман и Альфильд слишком уж худые хозяева. Оно было им не совсем по чину.

Я уверен, что Юханнес был ему куда больше по душе, он же такой пригожий.

Свен Хедман прежде занимался в деревне случкой, очень почетная должность, особенно если учесть, что у него и коровы-то ни одной не было; зимой он валил лес, а летом уходил в море в Буре и, собственно, даже крестьянином не считался. Через несколько лет его лишили этой почетной должности — случника, значит, — и он стал молчалив.

В свое время он женился на Альфильд потому, что она была красивая. Альфильд приехала с юга.

Теперь она растеряла былую красоту. По общему мнению деревенских, она, может, и была красивой в самом начале, когда Свен Хедман только привез ее сюда, но потом усохла и перестала быть красивой. Скорее даже, превратилась в уродину. В ее фигуре было что-то лапландское, может, не в самой фигуре, а в походке, а про лицо и говорить нечего. Волосы красивые, а лицо прямо как печеное яблоко.

У Свена Хедмана, пожалуй, когда-то было собственное мнение по этому вопросу, но нынче уже нет. Может, ему в глаз попал осколок стекла, вот она и казалась ему уродинной или, во всяком случае, усохшей. Остальным тоже так казалось. Когда Альфильд родила ребенка и одновременно с ней случился удар, она стала еще безобразнее.

Красивее Юханнеса он, верно, ничего не знал.

Меня ему присудили. Сперва он небось и меня видел так же, то есть через осколок стекла. Мы с Альфильд были для него чем-то уродливым. Но когда меня принесли к ним, встретил приветливо и сварил кашу из ржаной муки с мелассой. Вывалил кашу на плоскую та-

релку, в середине сделал ямку для мелассы и дал мне ложку, и мы начали есть, каждый со своей стороны. Так обычно принято в семье, можно сказать. Ему, пожалуй, хотелось меня таким образом приободрить — не давая отдельной тарелки, и я заметил, что под конец ямку с мелассой он оставил мне. Наверно, он был расстроен, что потерял своего любимчика, но взял себя в руки, хотя вокруг все стало таким уродливым.

Когда, вернувшись домой из леса, он входил на кухню и видел нас, то есть меня и Альфильд, то замечал наверняка лишь одно — какие мы уродливые.

Поскольку он нас боялся, я мало разговаривал с ним. Он был долговязый, лысый, по части женского пола, как говорили, не слишком-то ловкий и непрерывно жевал табак. Многие удивились, просто-таки поразились, когда он привез в деревню Альфильд.

Некоторые еще хорошо помнили, как она выглядела по приезду. Странно как-то. Ну, а потом и языком чесать стало не о чем.

Мне выделили кухонный диванчик. Сами они спали в горенке.

На спинке кухонного диванчика не было ни одной кошки. И рябину я не видел. И на той рябине, которой я не видел, ни птиц, ни снега. Я видел только Альфильд и Свена Хедман. Они не разговаривали друг с другом.

Сейчас мне думается, что они грустили. А чего тогда разговаривать. Между ними и без этого было все решено. Что случилось, то случилось. Юханнеса нет. Все вокруг — точно блестящий лед без солнца. Я лежал на кухонном диванчике. Я тоже был точно блестящий лед.

Вот как обстояло дело, когда Альфильд Хедман превратилась в лошадь.

2

Через год и три месяца после обмена у Альфильд Хедман случился второй удар.

Она выжила и на этот раз. Но сделалась уже совсем другой, даже не такой, как прежде.

Иногда я спрашиваю себя, а кем, по их мнению, она должна была для меня стать. Своего рода матерью, очевидно. Может, они думали, что она будет сидеть, в черном платье и с черными волосами, и петь мне псалмы из «Сионских песнопений»; уж чего-чего, а петь-то она умела. Будет сидеть и, закрыв лицо руками, петь о Божьей любви своему дорогому, вновь обретенному сыночку.

Но единственное, что я по-настоящему разглядел тогда, придя к ним, было ее уродство, и тишина. Самое странное, что я вроде бы даже забыл, как важно защищать лягушек. Меня настолько поразила тишина и царящее вокруг уродство, что я забыл то небольшое, чему сумел научиться.

По-моему, я старался как можно больше спать. Хотя спать столько, сколько мне хотелось, было, конечно, невозможно.

Второй удар случился с ней в среду.

Сперва она лежала в больничке, той, где оплошали со мной и Юханнесом; там ей приходилось самой ухаживать за собою. Потом она вернулась домой, и здесь ухаживать за ней пришлось мне. Ее привезли в конце февраля; она приехала на автобусе, ее посадили в сани, лошади свободной мы не нашли, но она почти ничего не весила, и мы со Свеном сами запросто довезли ее до дома.

Мы поместили ее на кухонный диванчик. Обложив подушками.

И потом все то время, которое нам еще оставалось, мы провели одни — она, Свен и я. Тогда-то Альфильд и стала лошадь. Хотя это произошло только летом.

Она частенько задремывала. Может, у нее тоже были свои коричневые кошки на лаковом покрытии, которых она, закрыв глаза, звала в своей тьме.

Если не они ее звали.

Я спрашивал себя, после, как у нее со Свеном Хедманом все на самом деле вышло.

Наверно, это была своего рода любовь. Иначе зачем бы он подыскал себе такую, похожую на пришлую или на валлонку. Должен же он был понимать, какими мучениями это обернется. Но он небось боялся остаться в одиночестве, и кто знает, о чем они говорили, пока Аль-

фильд еще умела говорить. Может, она тоже боялась. В деревне болтали, что Свен и Альфильд первые годы были словно тот зверь с двумя головами из Книги Откровения. Но Свен и Альфильд, возможно, и сами не знали, что жили в мученье. А коли ты не сознаешь мученья, значит, его и нет.

Так что то, должно быть, была любовь. Если живешь в мученье, не понимая этого, причина одна — любовь.

В начале мая наступило ухудшение. Свен не хотел выносить сор из избы. Пожалуй, из-за этого-то и возникли сложности.

Сперва ухудшение было настолько незначительное, что мы его почти и не заметили. Вроде как когда большая беда перерастает в огромную. Альфильд не только онемела, но и стала задумчивой. Мы поняли: что-то случилось. Дальше — больше: она оставалась задумчивой, но не совсем немой. И тут кое-что начало проясняться.

Хуже всего было не то, что она перестала быть немой. Она еще и ходила под себя.

Свен Хедман справлялся в основном сам, но иногда и я помогал. Иногда, когда Свен был в лесу, убирать бы следовало мне, но я плохо поддавался. Она сидела не шевелясь и воняла, задумчиво глядя на меня. Порой взгляд ее теплел, как будто она наконец-то поверила в решение Верховного суда. И тогда я уходил в дровяной сарай и делал вид, будто столярничая.

Той весной она частенько сидела, глядя себя по черным волосам. Стояли холода. Помню северное сияние однажды, когда в ее глазах светилась ласка и я пошел в сарай. Как-то раз я прошел полдороги к зеленому дому, с непокрытой головой, при свете северного сияния.

В нижнем окне горел свет, а наверху было темно. Юханнес небось уже лежит в моей кровати. По-моему, я захлопал носом.

Они не хотели, чтобы я называл их мамой и папой. Я называл их Альфильд и Свен.

Как будто так и надо было.

Состояние Альфильд все ухудшалось, и через какое-то время она начала кричать.

Сперва мы не понимали, что она говорит. Раньше-то она молчала, когда псалмы не пела, но стихи напечатаны, так что слушать надобности не было. А теперь она пела все новое. Или, скорее, кричала. Сидела на кухонном диванчике, рука на черных волосах, лицо сморщено, то ли от отчаяния, то ли от радости, не поймешь, и редела.

Щеки у нее когда-то, верно, были совсем детские, а сейчас точно печеное яблоко, но, когда она редела, иногда проглядывали ее прежние, хотя она их и морщила. Она редела, или мычала, но не так, как от боли, просто чуть меланхолично или задумчиво редела в ожидании, когда же решится заговорить с нами. Она ничего такого плохого не кричала, я имею в виду, никаких ругательств, скорее, словно бы хотела сообщить что-то важное, над чем долго размышляла. Чуть ли не небесную весть. Ну, вроде ангелов с трубами из Книги Откровения.

Это напоминало песнь телефонных проводов морозными зимами, я тогда думал, будто это арфа, подвешенная к звездам; но звук был глубже, не совсем небесный, больше звериный. Грозный и теплый, она мычала в общем-то удивительно глубоким голосом, сперва низким — ммммммммммммм, потом повыше — ммммм, потом — оoooooooooooooooooуууууууууууууууууооххмммммммммммммммммммммммммммммммммммм..... ммммм... и все стихало, но ее, казалось, это ничуть не огорчало. Точно она сказала что-то важное, а теперь обдумывала сказанное.

Сперва мне ни чуточки не было страшно. Потом стало немножко боязно. После того, как Свен Хедман коротко бросил:

— Теперь нам надо приглядывать за твоей мамой.

Голосом зовущего она пела. Мне надо приглядывать за своей мамой.

Позднее я изредка думал: точно корова, зовущая своего теленка. Я пытался себя утешить мыслью, что теленком, верно, был Юханнес.

На обдумывание у нас ушло несколько недель. Обдумав, мы пришли в замешательство.

Не столько из-за Альфильд. Ведь у нее после родов случился удар. Второй удар случился, наверно, из-за об-

мена. Вроде бы как ей пришлось рожать два раза, а такое запросто может вызвать удар. И не из-за самих себя мы пришли в замешательство. Мы испугались, что ее услышат в деревне и тогда деревенские, или пастор, человек важный, но не слишком сообразительный, или прокурор придут, заохают и отберут ее у нас.

Деревенские, правда, были туговаты на ухо. И что стало с Альфильд, когда-то в общем пригожей и всем симпатичной, никто не знал.

Иногда у меня возникала мысль, что это из-за меня она сделалась такой чудной. Но я отбрасывал ее: прочь! Прочь! И тогда думал, что в этом виноват Юханнес.

Я начал размышлять над тем, как легко Юханнес умудрялся перекладывать вину на других.

Двух мам я потерял, и одного папу. В общем-то, довольно много.

Один покоился в могиле, и я знал его лишь по погребальной карточке (блокнота в то время я еще не видел). Одна обитала в зеленом доме, и лицо ее делалось как печеное яблоко при виде меня. А Альфильд, ну, она была такой чудной, что волей-неволей приходилось считать ее потерянной.

Свен Хедман прогулялся по деревне, вынюхивая, не слышал ли кто чего. Вроде бы нет. Удивлялись только, что мы не ходим к молитве. Тогда мы со Свеном, собрав военный совет, решили, что один из нас будет ходить к молитве регулярно.

Ежели вокруг дома бродил какой-нибудь доброжелательный сосед, мы тщательно запирали двери. Или уводили Альфильд в горницу, то есть в горенку, где клали перед ней кальку и карандаш и я учил ее чертить карту Швеции. В основном только контуры, но я всегда отмечал точкой Хьогтбёле, чтобы она знала, где находится.

Тогда она не ревела.

А вообще она отличалась постоянством. Ревела по утрам, пока Свен Хедман укладывал еду в коробку и наполнял термос, и потом вечером. В какие-то дни рев продолжался в общей сложности три-четыре часа, не больше. Когда у нее бывало грустное настроение, она ревела и подольше.

К весне в ее мычанье мы стали различать слова. Тут-то и возникли проблемы.

У Альфильд и раньше были проблемы. Не только то, что она, возможно, была из пришлых, но и кое-что другое. До меня она родила еще одного мальчика. Тогда она лежала дома, и Свен Хедман вызвал акушерку, которая приехала, однако очень спешила. Как ни странно, но с ней произошла такая же история, что и с Юсефиной. Во всяком случае, ребенок лежал неправильно, Альфильд орала как чокнутая, и в конце концов соседи не выдержали и позвонили акушерке, которая примчалась со своим колоколом-присоской, и на третьи сутки, под непрекращающийся крик, удалось извлечь младенца.

Его задушило пуповиной. Он умер как раз в тот момент, когда должен был бы начать жить. Они ему дали то же имя, которое потом дали мне, положили в гроб, но не сфотографировали.

У всех имелись посмертные фотографии, у Юсефины тоже была фотография ее первенца. Хорошо бы и Альфильд или Свен Хедман сняли бы на карточку и своего. Интересно, похож ли я на него, но доказательства погребены, карточки нет, и ни один врач не изучал его ушные раковины.

В тот раз Альфильд тоже ревела.

К весне пошли слова, слова словно бы сочлились из нее. И тут-то возникла проблема.

То были почти связные предложения. Нам стало совсем скверно.

Изба Хедманов стояла, вжавшись в лесную опушку, напротив зеленого дома, в полкилометре от него, снег в тот год сошел поздно, хотя лету все равно никуда было не деться, но мы со Свенем Хедманом не могли думать ни о чем другом, кроме как о словах Альфильд.

Чудные были слова. Вроде бы как она сейчас, попав в безвыходное положение, начала говорить на тайном языке, который когда-то знала. Точно ее жизнь была своего рода огромным котлом, и его черное содержимое булькало и пузырилось, почти как в бочке на дедушки-

ной смолокурне, на поверхности время от времени появлялись пузыри, и шли они снизу, оттуда, где пряталась ее прежняя жизнь. Даже страшно становилось. Но вместе с тем ты начинал приглядываться к ней, чего не делал раньше. Со дна поднимались пузыри. Сперва с трудом, одна чернота, а потом появились волосы, и черные глаза, и певучий голос, и что-то вроде одиночества в глазах.

И все это в чудных, тайных словах.

Можно было подумать, что смоляная бочка — это ее жизнь, а пузыри — она сама, и Альфильд словно бы ярилась, что мы раньше ее не слушали. И потому пользовалась тайным языком.

Точно как дед Эвы-Лисы, которого обвели вокруг пальца. Если то, что рассказывала Эва-Лиса, правда.

С ними ведь обходятся иногда несправедливо. И тогда в виде протеста они пользуются тайным языком. Я научился понимать кошек на спинке кровати, хотя они и были покрыты лаком. С животными я умею обращаться.

Но об Альфильд я никогда не заботился. Неудивительно, что она вроде бы как впала в раздумье.

Она начала петь слова и по ночам.

Ночью были по большей части песни, днем — тайны. Ночью — в основном небесная арфа, днем — тайны. В общем-то, разницы почти никакой. Поэтому настоящего страха я не испытывал.

Свен Хедман делался, пожалуй, все задумчивее. Иногда даже чуть ли не в уныние приходил.

У меня было две мамы. Одна ни разу меня не обняла, но протянула кусок сахара. Другая пела как кошка, хотя совершенно тайно.

Да, скажу я вам. Скажу я вам.

Позднее мне пришло в голову, что на тайном языке она пыталась рассказать о своем детстве. А для этого ведь нельзя пользоваться обычными словами, только тайными, обычными пользоваться никто не может.

Кто способен рассказать, каково это — быть ребенком. Никто. Хотя, пожалуй, надо пытаться. А иначе-то как же.

Юханнес пытался, в библиотеке капитана Немо. Но и у него ничего не вышло, хоть он и пытался.

Мне бы ей объяснить: хорошо, что она пытается. Но и этого я не сообразил. А потом Альфильд разъярилась настолько, что посыпались крепкие словечки.

И я, и Свен Хедман были совсем ошеломлены, когда поняли. Стыдоба-то какая.

3

Поскольку мне мало-помалу стало ясно, что Нюланд, южная Финляндия, и есть то место, откуда пришли *они*, то есть *те*, с тайным языком, или похожие на меня, и либо очень красивые, либо уроды, с юга и издалека, хотя не со стороны Стокгольма, я про себя решил, что Альфильд именно оттуда.

Нюланд — и это четко явствовало не только из «Таинственного острова», «Робинзона Крузо» и «Книги джунглей», но и из Большой семейной Библии с изображением невинных женщин, которых засасывает в огромную водяную воронку, — край земли с пальмами и вулканами с кратерами и запертыми в них подводными кораблями.

Однако Свена Хедмана я об этом не спрашивал. Он наверняка встретил Альфильд, когда она была совсем юная, и тоже не поинтересовался этим. Я хочу сказать: когда она перестала быть уродиной.

Интересно, почему так важно быть красивым.

После того как Альфильд Хедман превратилась в довольно-таки пригожую лошадь, я часто размышлял, какая она была в юности. Вполне можно предположить, что она приехала сюда на пароходе, вдоль побережья. И приехала затем, чтобы сообщить нам некую тайну. Тайны ведь есть у всех, нужно только сообщать их так, чтобы другие не просто поняли, чтобы заставить их уразуметь. Между «понять» и «уразуметь» большая разница. Но у нее была очень важная тайна, и она отправилась так далеко не просто сообщить нам ее, а так, чтобы мы уразумели.

Но ежели Верховный суд прав, то я, следовательно, тоже родом из царства джунглей Нюланд с пальмами и

Когда я был ребенком, думал по-детски, мечтал по-детски и разум имел детский, я любил рисовать по цифрам. Игра эта печаталась в «Норран». Соединяешь карандашными линиями цифры, и получается животное. Обычно это бывали либо слон, либо птица.

А может, это из журнала «Аллерс». На чердаке в зеленом доме хранились и «Норран», и «Аллерс».

Вот так можно линией соединить цифры. Альфильд — цифра. Не надо было мне спешить, чтобы получился слон, надо было помедлить у каждой цифры, чтобы уразуметь, что такое именно эта точка.

В том-то, верно, и вся беда. Она была не слон, а лошадь. Вообще много чего было связано с животными, так получается, ежели нет уверенности, что ты сам настоящий человек. Как-то раз, до обмена, к нам в дом залетела птица, она билась, размахивая крыльями, и тогда Юсефина закрыла ее между зимней и летней рамами, там, где лежала вата и дохлые мухи.

Я закричал, и она выпустила птицу. Жутко было видеть прижатые к стеклу крылья.

Она, верно, боялась, что птица нагадит, как кошка нагадила на плиту. Юсефина строго следила, чтобы в доме было не загажено. Потому-то, наверно, я и мыл пивок в ручье, так что под конец они делались совсем-совсем чистыми. И лягушки, которые очищали воду родника. Хотя их она ведром вычерпывала из воды.

Иногда я не могу уразуметь.

Взять хотя бы эту самую чистоту. Не то что у Хедманов. Но ведь все было по-разному. Зеленый дом тоже не похож на джунгли Нюланда. Пришлось уразуметь, что многое было по-разному.

В полной оторопи я смотрел, как птица пытается освободиться, а потом закричал. Но она не нагадила на вату между рамами. Это же видно.

В июне Альфильд кричала по пять часов в день. Если появлялся кто-нибудь из соседей, Свен Хедман выходил на улицу, чуть ли не на сто метров от дома уходил, и разговаривал, там, совершенно естественно, на расстоянии, чтобы никто ничего не услышал.

Мы жили, все больше, с ее криком. Одно это почти и имело значение. Мы и не думали сдаваться. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что в общем-то Альфильд была нам далеко не безразлична.

Может, и не так дорога, как Эва-Лиса Юханнесу. Но она уже не была нам противна.

Это трудно объяснить. Но возникла, пожалуй, своего рода любовь.

4

У Хедманов был летний домик, оставшийся после отца Свена, который умер на вырубках, даже, скорее, бревенчатая избушка. Она стояла у речки Мелаон, соединявшей болота Хольмсвасстрэскет и Хьогтбёлетрэскет.

В конце концов мы отвезли Альфильд туда.

В Хьогтбёлетрэскет было пять островков и поросшее камышом дно с мелкими березками, которые не считались. Один из островков назывался Русский остров, и там были похоронены семь русских. Они были солдатами русской армии, которая бесчинствовала тут в начале XIX века, забрели каким-то образом в Хьогтбэле, а деревенские их прикончили и похоронили. На Русском острове в изобилии водились гадюки и росли высоченные ели. Их не рубили из-за русских и гадюк, наверно, и из-за их высоты. Поэтому туда никто никогда и не высаживался. Это всем было известно и вполне естественно.

Из нужника зеленого дома Русский остров можно было увидеть вдалеке, а из избушки у Мелаон — совсем близко.

Туда мы ее и отвезли.

Усадили на багажник велосипеда с надувными шинами, которые я то и дело заклеивал «сулизионом», так называлось это средство, и покатили. Свен Хедман сказал, что он с ней договорился, но это, скорее, мы с ним договорились, хотя она по естественным причинам вовсе не возражала. Он привязал ее вожжами, которые Нурдмарки забыли в хлеву с тех времен, когда Свен работал случником, небось корову привели, туда-то она шла

упираясь, а потом стала кроткая как овечка, вот они и забыли вожжи, во всяком случае, они остались в хлеву. У нас-то больше не было ни лошади, ни быка, с тех пор как Свена отстранили от этого дела, после чего он сделался молчаливый и совсем смиренный.

Альфильд улыбалась и выла не переставая, вроде как бы радовалась, что на улице очутилась. Мы шли через деревню. Думаю, на нас глядели, но наверняка не скажу. Ведь люди там, за окнами, могли заниматься чем угодно, а я глаз не подымал. Когда мы проходили мимо хлева Линдгренов, она громко произнесла — *блядун*.

Потом через лес мы вышли на дорогу, и тут она замолчала. Целый час мы везли ее к Мелаон. Было довольно жарко.

Мы ссадили ее на ступеньки крыльца. Она вертела головой и по-птичьи хлопала своими черными глазами, но ошарашенно молчала. Похоже, потеряла присутствие духа. Не теряй присутствия духа, сказал Свен Хедман мне, заметив, что у меня начала дрожать губа. Тогда я взял себя в руки. Он в общем-то был рад, что я с ним.

Вечером мы с Альфильд заснули, но позже ночью я проснулся и увидел, что Свен Хедман сидит и читает Библию, хотя это было вовсе не в его привычке. Услышав, что я проснулся, он повернулся ко мне, точно собирался уговорить поскорее заснуть. Но ничего не сказал.

Я встал и сел рядом с ним. Альфильд спала.

Стояла по-летнему светлая ночь. Над болотом поднималась дымка тумана. На Русском острове были видны только верхушки елей, а громадные, разлапистые, растопыренные, словно пальцы Бога, ветки, которые никогда не дрожали, скрывались в пелене.

Как, собственно, можно стать взрослым.

— Ей бы, верно, было бы худо в больнице, — сказал Свен Хедман погодя — перед тем, как отнести меня в кровать.

Подумать только, он не просто обратился ко мне, но и на руки взял.

Он сообщил мне, что в ближайшие дни ему вроде бы не надо выходить на работу. И он побудет немного со мной и Альфильд.

Почти каждое утро над болотом висел туман. Потом он разрывался, повисал ключьями — довольно жуткая и в то же время прекрасная картина. Все, что я отчетливо помню из времен детства, жутко и прекрасно. Когда туман раздвигался, вперед выступал Русский остров, словно плывущий ко мне корабль. Он плыл ко мне.

Пока корабль приближался сквозь туман, неизменно держа курс на меня, я размышлял, что же там есть. Гадюки там тоже есть. И громадные ели, которые никто не рубил уже много столетий.

Следовало быть очень внимательным. Уже совсем близко.

Свен хорошо умел варить кашу. Я тоже научился. Уже на второй день Альфильд начала показывать норы.

Передвигалась она без труда, но нервничала, что ее не выпускают из дома. Казалось, ее тянуло к воде. Уже утром третьего дня она проснулась раньше всех и вышла на улицу, босая, в одних серых кальсонах, в которых любила спать.

Мы встревожились, когда проснулись и обнаружили, что ее нет, но, к счастью, ничего не случилось. Она сидела у кромки воды, опустив в нее руки, и наблюдала за рыбешкой.

Мы спокойно отвели ее домой, и тут она захныкала, и Свен Хедман тоже чуть не разнюнился.

— Красивая у тебя мама когда-то была, — внезапно произнес он. А на это что ответишь.

Он был сильный, приземистый и беспрерывно жевал табак, но теперь заговаривал со мной все чаще, иногда по нескольку раз на дню. Я хотел было спросить его, не скучает ли он по Юханнесу, но раздумал и промолчал.

Да и что бы он мог на это сказать.

На третий день кончилась овсянка. И Свен сказал:

— Поеду привезу овсянки.

Он привязал Альфильд вожжами Нурдмарков к ножке кровати и велел мне сторожить.

Ничего необычного в том, чтобы остаться с нею наедине, не было. Раньше-то ведь я оставался. Я не особо боялся. По-моему, он больше нервничал сам. Я это понял, когда он ее привязал. И несколько раз повторил, без всякой нужды, что скоро вернется. Только зайдет в «Консум» в Форсене и купит овсянку и молоко. И много раз проверил узлы, очень тщательно.

Потом взглянул на меня и покатил велосипед с надувными шинами к мосткам.

Альфильд выглядела вполне здоровой и веселой, когда мы остались одни, но прямо-таки нетерпеливо дергала узлы. Она была немного беспокойной и пела не совсем так, как раньше. Собственно, пела она или, вернее, мычала чуть ли не сердито, чуть ли не злобно, с вызовом глядя на меня и дергая вожжи. Но узлы были завязаны на совесть и не поддавались.

Хорошие были узлы, прочные, поэтому она злобно смотрела на меня, точно ее мучила жажда. По ней ясно было видно, что она хочет пить. Я сперва дал ей воды в берестяном черпаке, но она отказалась. Потом я объяснил ей, что до «Коппры» совсем близко, Свен скоро вернется, но тогда она засучила ногами прямо-таки с вызывающим видом, как будто ее донимали слепни, чего на самом деле не было.

Я совсем растерялся. Не знал, что сказать, но что-то надо было говорить, чтобы успокоить ее, и я произнес:

— Успокойся, мама, он только овсянку купит.

Она как-то чудно посмотрела на меня. Я засомневался, не сморозил ли глупость. Я ведь никогда прежде не называл ее мамой. Но тут она открыла рот и приветливо завывла.

Я подошел к окну и окинул взглядом озеро. Она замолчала. Я обернулся и увидел, что она смотрит на меня. Даже не знаю, что я почувствовал.

И я принялся развязывать узлы на вожжах, затянутых вокруг ножки кровати.

Я повел ее к кромке воды. Камышей там не было.

Она радостно смотрела в воду, следя за мелкой рыбешкой. Я палкой тыкал в воду, и рыбешки носились

взад и вперед как чокнутые. Я натянул вожжи. Тогда она наклонилась и стала пить.

Она не мычала. Мне было ничуть не страшно.

Свен Хедман вернулся через два часа. К этому времени я уже опять привязал ее к ножке кровати. Он, конечно же, заметил, что узлы другие, но не спросил, что произошло. Наверно, сам понял.

Я сказал:

— Она хотела пить, но только из озера.

— Ты принес? — спросил он.

— Нет, — ответил я, — я отвел ее туда, и она сама напилась.

И больше вопросов он не задавал.

Свен сварил овсяную кашу. Ночью Альфильд снова начала выть.

Я спал, но проснулся. Встал и сказал:

— Она сама напилась из озера и норов совсем не показывала.

Перед ним лежала Библия, не раскрытая.

2. Приключения лошади

Ртом прижалась Эва-Лиса
к стенке ледяной.
Раскидала руки, ноги,
бьется в корчах под луной.

Из нее скользнула рыба,
Бог не дал дитяти ей.
Рыба плачет, рыба бьется,
вот расплата за позор.

1

С Хедманами поступили страшно несправедливо.

Несправедливо обошлись со Свеном Хедманом, несправедливо обошлись с Альфильд Хедман.

Я уже совсем было начал понимать. Но тут она стала лошадью. И ее у нас отобрали.

Но с ними поступили несправедливо.

Ей не нравилось, что ее все время держат взаперти. Я понимал это, и Свен Хедман понимал.

Ведь было лето. И зеленая травка. И сосны, и черника, и озеро с рыбешками. И светло сутки напролет. И Русский остров словно корабль.

Свен Хедман после того раза стал чуток посмелее. Вроде как бы то, что я отвел ее, держа за недоуздок, к воде, чтобы она попила и полюбовалась рыбешками, и придало ему мужества. Всю весну он делал то, что, по его мнению, обязан был делать. Готовил еду, убирал дерьмо и тяжело вздыхал. Ну и, похоже, в конце концов перестал верить, что она настоящий человек. Словно бы наждаком прошлись. Похоже, он больше не верил, что она настоящий человек. Но после того, как я отвел ее на водопой, он осмелел.

И начал все чаще и чаще выводить ее подышать.

На ней были кальсоны, и валенки, и вязаная кофта. Странновато, конечно, ведь стояло лето, но валенки были подшиты кожей, так что они не промокали.

Черные волосы повязаны платком. Все это выглядело довольно странно, пока ты не привыкал. И тогда казалось вполне естественным, да и от комарья хорошо.

Меня комары никогда не донимали. Это зависит от того, какая у тебя кровь. Свена Хедмана комары тоже не донимали.

Мы завязывали вожжи ей на талии. Так что она могла идти куда захочет. Иногда она тащила что есть мочи. Иногда я боялся, что она утащит меня с собой.

Теперь стало совсем просто.

Тишь да благодать. Это было удивительно. Альфильд натягивала вожжи или ложилась на землю, всего понемножку, иногда пела, и мы слушали, и на душе делалось хорошо.

Было так, как и следовало быть. Не о чем спорить или языком чесать.

Лодки у нас не было, но я частенько ловил рыбу, не смотря на мелководье. Я шел по мыску, уходившему довольно далеко в озеро, пока вода не доходила мне до колен. Где и стоял, держа палку с привязанными к ней суровой ниткой, щепочкой вместо пробки и крючком.

Возвращаться на берег за червяками было мучительно, поэтому я носил червей с собой. Рот служил банкой для червяков, ведь разговаривать-то на рыбалке ни к чему.

Когда плотва съедала червя, я просто-напросто вытаскивал крючок из воды, вынимал изо рта нового и насаживал. Проще пареной репы, в общем-то, и мы с Юханнесом до обмена всегда так делали.

Мы притраливали Альфильд ремнем, придавленным камнем, и она сидела, опустив ноги в валенках в воду, с интересом глядя на меня. Когда я вытаскивал рыбу, было слышно, как она радуется.

Иногда она напевала. И мы понимали, что ей хорошо. Валенки сушили на крыльце на вечернем солнце.

Свен Хедман, похоже, начал считать, что работать ему без надобности.

До деревни было семь километров, так что сюда никто не приходил. Мы жили в полном одиночестве. И зеленый дом не маячил перед глазами. Мы со Свеном ходили босиком, а Альфильд настаивала на валенках. Мы водили ее гулять, в чем она была, и тогда она успокаивалась. Некоторые ходят в валенках летом, говорил Свен Хедман, кивал, и на том ставилась точка. К тому же это была правда, сами видели. Мы выводили ее в чем есть, и она сидела, болтала в воде валенками и напевала, и если подумать, так то были одни из самых замечательных летних месяцев в моей жизни.

Хотя возникли трудности с провизией. Мы со Свеном устроили совещание на кухне по поводу провизии. Впрочем, совещались мы не только о провизии. Именно на кухне он произнес эту странную фразу об Альфильд, объяснение которой я так и не получил. Точно как с теткой в картофельном погребе, сундуком и письмом, которое она прочитала молча, а потом фыркнула и сказала: «Кто бы говорил!»

И больше ничего. Свихнуться можно. Вот так же было и с тем, что Свен Хедман рассказал об Альфильд.

Он сказал: Я ждал, пока она не выйдет из тюрьмы. Я спросил: Почему она сидела в тюрьме? — Это было несправедливо, ответил он, потому что она объяснила, что хотела лишь убить рыбу. Я спросил: Сколько же она

просидела? Он сказал: Я ждал, пока она не выйдет. — Сколько ей было тогда лет? — спросил я. Когда она вышла, она была уже не такой красоткой, как тогда, когда попала туда, сказал он.

Красоткой — слово-то какое.

Кто знает об этом, спросил я. Только мы трое, ответил он. Мне кажется, ты должен знать, какая у тебя мама.

И больше ничего. Ясное дело, я вдрызг разобиделся. Знать, что у тебя за мама. Вывалить из себя такое. И больше ничего не рассказать.

Потом он заговорил о провизии. Свихнуться можно.

2

В июле было совсем светло, тепло и безветренно. Мы собирали ягоды, и я тайком доил коров Альбина Хэггстрёма, которые ходили по большаку в Эстру. Это, черт подери, искусство. Ежели им удавалось убежать, молоко выливалось. Приходилось проливать семь потов из-за каждой капли. В одной руке я держал подойник, а другой доил.

Раз в неделю Свен ездил в «Консум» в Форсен, вообще-то относившийся к Вестре, и покупал продукты. В основном овсянку.

Он немного беспокоился по поводу денег, говорил он.

Ночами мы частенько посиживали с ним и тайком читали Библию, пока Альфильд спала. Поразительно, чего там можно было найти, ежели повезет. Когда не везло, тогда получалось вроде как чтение Ямеса Линдгрена.

Скоро пойдет брусника, сказал Свен как-то ночью. Я понял, что он намерен остаться здесь надолго.

Было светло что ночью, что днем, поэтому нам было в общем-то все равно, когда спать. Вот мы и спали, когда Альфильд не пела. Свен однажды упомянул про то самое ужасное, то есть про то, когда ему сообщили, что он больше не будет случником, так решил деревенский сход там, у стола с молочными бидонами. В объяснения не вдавался, но упомянул.

Грязных слов из Альфильд больше не вылетало.

Валенки теперь пахли только озерной водой.

Как-то ночью Свен Хедман заснул прямо за кухонным столом, уткнувшись лбом в деревянную столешницу, так что, когда он встрепенулся, лоб у него был весь в узорах.

Мы начали пасти ее в лесу.

Там была полянка, на которой когда-то складировали древесину: сейчас сквозь кору проросла трава, кругом простор и сосновый лес. Свен Хедман вбил кол посерединке, связал вместе вожжи, так что они стали длиной метров в пять, и, обвязав одним концом Альфильд, другой крепил к колу.

После чего она могла свободно ходить по кругу.

Мы сидели на бревне, Свен с зажатой в руке табакеркой, которую он то открывал, то закрывал, как будто хотел угостить кого, но табаком баловался он один. Он заявил, что, по его мнению, ей бы не понравилось в больнице, ей было бы плохо там, в этом он точно уверен. Альфильд любит подолгу гулять на свежем воздухе, утверждал он, ясно как день; и все время сидеть там в мокрых валенках, только и делая, что глаза на рыбешку, должно быть, вредно для здоровья. Я возразил, что, мол, ей интересно смотреть, как я ужу рыбу, и однажды она мне накопила червей из коровьей лепешки, но он сказал, что гулять в лесу ей тоже полезно.

Было так покойно и хорошо. И птицы порхают. Альфильд медленно ходила по кругу, она немножко хромила, потому как второй удар затронул и ногу, но вообще ходила нормально. Мы сидели, Свен и я, и радовались, что ей так хорошо. Она была некрасивая, зато милая, и никогда не пела гадкие или злобные песни, и сделалась в каком-то смысле лошадкой. И после того, как это случилось, мы стали все больше и больше о ней заботиться.

И мы ее любили. Прежде все было ужасно. Теперь она стала лошадкой. А с лошадкой надо обращаться бережно, ухаживать за ней, а зимой тщательно укрывать попоной, потому что по глубокому снегу ей идти тяжело и она потеет: с лошадкой хлопот хватает. На тебя ложится большая ответственность.

С каждым днем мы проявляли все большую заботу.

Свен расчесывал ей волосы, а я водил к воде попить и полюбоваться на рыбешек. Ее обильно кормили овсянкой с ворованным молоком и черникой, и Альфильд ела и распевала. Она чуточку покруглела и выпрямилась. И уже не выглядела такой иссохшей, как раньше. Даже помолодела.

Свен не забывал напоминать, как плохо ей было бы в больнице. Поэтому нельзя, чтобы ее обнаружили.

Ночью она спала прекрасно. Иногда она бешено носилась вокруг кола, точно страшно веселилась. Мы каждый день тщательно сушили ее валенки и укутывали в одеяло, если она ночью скидывала его.

Они, наверно, поняли. Или кто-то увидел.

4 августа во второй половине дня на лесной тропинке появился прокурор Хольмберг. Его сопровождал Ямес Линдгрэн. Мы сидели на полянке, как обычно, и Альфильд ходила и весело мычала, и ей было хорошо.

Они с минуту постояли, глядя на нее. Потом отвели Свена Хедмана в сторонку для разговора. После чего отвязали Альфильд, и ни я, ни Свен не могли на это ничего сказать. Они крепко держали ее.

Всего через несколько минут она перестала вырываться. И они забрали ее с собой, оставив меня выяснять последнее.

На следующий день они повезли Альфильд на автобусе, сперва в город. Потом, как предполагалось, ее должны были отправить в Умедален. На лечение, потому как она считалась чокнутой.

А она вовсе такой не была. Когда автобус сделал остановку в Форсене, чтобы пополнить запас дров для газового генератора, Альфильд сказала или показала, это так никогда и не выяснилось, что ей надо выйти помочиться. Учитывая, что поездка предстоит долгая, ей решили. Прихрамывая, она углубилась в лес и исчезла за кустом, и ее так и не нашли. Шофер к тому времени развел уже полные пары и, не желая, чтобы движок остыл, погнал машину дальше в Шеллефтео, где ей предстояло пересесть на автобус до Умео.

Но она исчезла.

Ее искали. Однако мы со Свеном Хедманом сразу смекнули. Поздно вечером, когда уже начало смеркаться, потому как уже наступил август, мы отправились на велосипеде к Мелаон. Там мы ее и обнаружили.

Альфильд сидела у кромки воды, глазела на рыбешек и была совершенно спокойная, но валенок не нашла. Туфли она потеряла. Ноги были в жутком виде. Когда мы приехали, Альфильд обрадовалась, просияла и чуток всплакнула.

Автобусы уже никакие не ходили, так что она смогла переночевать там.

Это была последняя ночь на Мелаон. Свен Хедман сидел за кухонным столом, перед ним лежала черная Библия, но его взгляд был устремлен на Русский остров. Я уже лег, потом встал и предложил почитать тайком Библию. Но как мы ни старались, на этот раз не сумели найти там ничего интересного. Точно ее заколдовали.

На дворе было пасмурно, почти темно. Лето в общем-то подошло к концу, и мы не могли различить ни одного островка.

Назавтра ее забрали.

Проследили, чтобы она помочилась перед поездкой, и она даже и не пыталась снова убежать.

Невероятно, как она нашла дорогу. Ведь туда было около десяти километров.

Сперва Альфильд доставили в Умедален, но потом перевели в Браттбюгорд, между Умео и Виндельном. Месяц спустя мы со Свеном Хедманом поехали на автобусе в Браттбюгорд навестить ее.

Там было немало жутких типов. Вонь стояла страшная. Было несколько монстров, один с крокодиловой кожей, и полно идиотов. Их собрали со всего Вестерботтена. Альфильд лежала в кровати.

Она не издала ни звука. Только беспрерывно водила рукой по своим черным волосам. На меня смотрела твердо, как будто вот-вот что-то скажет, но мы-то знали, что не скажет.

Больше я ее не видел. 14 ноября с ней случился тре-

тий удар. Мы навестили ее всего один раз. Это было жутко.

Необходимо, чтобы во всем этом был какой-то смысл. Иначе можно прийти в полное отчаяние.

Мы навестили ее один-единственный раз. На обратном пути в автобусе я маленько разнюнился. Тогда Свен Хедман взял меня за руку, под локоть, осторожно-осторожно, и я в конце концов перестал.

Со Свенем и Альфильд Хедман обошлись несправедливо.

Иногда мне кажется, что какое-то время я был близок к тому, чтобы понять, что за жизнь у нее была. Но я так и не успел.

III. ПРИБЫТИЕ НА ОСТРОВ ПОСРЕДИ МОРЯ

1. Открытие муравейника

Эва-Лиса затихает,
точно рыба в тенетах.
На полу снежок сверкает,
рыбка плачет, как дитя.

Не того ждала младенца,
нет, не рыбу на снегу.
Никуда ей уж не деться,
от позора не сбегу.

1

Главное — начертить точные карты.

Остров с горой Франклина находился на расстоянии шестнадцати морских миль к югу от побережья Нюланд; из дальних финских шхер можно было различить вершину вулкана. Иногда он курился. Никто на остров не ездил — из-за страха перед убитыми русскими, похороненными там, и из-за страха перед водившимися на острове в изобилии гадюками.

Остров располагался на 61,15 градуса северной широты, а долготу не вычисляли. Этим, наверно, объясняется, что его так долго не могли найти. На острове росли ели, которые не рубили много столетий, настоящие великаны, ветви до тридцати сантиметров в диаметре. По ним можно было идти довольно далеко. Когда вулкан ворчал, ветви дрожали, словно Божьи пальцы.

Но с них было видно далеко окрест.

Там, в заполненном водой кратере вулкана, «Наутилус» встал на вечную стоянку. Судно мирно покачивалось в нутре вулкана, и там спрятался Юханнес, чтобы в библиотеке найти себе укрытие.

Нюланд с его пальмами, зачастую непроходимыми джунглями и опасными песчаными блохами, где на мать Эвы-Лисы, парализованную и беспомощную, напали в ее последние часы крысы, этот материк, откуда родом многие из самых близких мне людей, о котором я мечтал

и которого боялся, — туда мне не суждено вернуться никогда.

Но недалеко от побережья я обнаружил остров, последнюю стоянку «Наутилуса», где Юханнес нашел себе прибежище в библиотеке капитана Немо.

«Если бы врага не было, его надо было бы создать», — написал он в одной из своих записок.

Это словно мимолетная улыбка, чуть ли не презрительная, и все-таки дружелюбная. Как будто он хотел сказать: Вот, возьми, теперь ты должен свести все воедино. А сведя воедино, ты покинешь судно, откроешь краны и дашь ему уйти на дно. Всю твою жизнь мы с тобой этого избегали. Но сейчас я даю тебе это знание в дар. Мешок с камнями, который тебе предстоит таскать остаток жизни.

Итак, сведи воедино, если успеешь.

Пригожий?

Последние часы его жизни я не сводил с него глаз. Пригожий? Скорее как недоступная часть моей жизни, и тогда слово «пригожий» не годится.

Посмертные карточки. Папин блокнот. Возвращение найденного мертвым ребенка.

Живой Юханнес, мертвый я. Или, может, наоборот.

Тысячи клочков с записями. Странная библиотека, в таком случае.

«Эва-Лиса вычеркнула мою жизнь, когда я вычеркнул ее. Если кто-то вычеркивает жизнь, значит, он — палач жертвы. Но если оба?»

«Но о смерти, о смерти ты не знаешь ничего. Ничего!»

Самое прекрасное и человеческое: жить как монстр, далеко-далеко, и быть тем, кто делает человеческое видимым. Сросшиеся из Браттбюгорда.

Альфильд стала ведь лошадью, а Свен все равно точно чокнулся, когда она умерла. Быть может, люди срас-

таются, находясь в крайней опасности и нужде. И если другой умирает, то ты остаешься сросшимся с трупом.

Поэтому посмертные карточки ставили на комод?

2

Великий грех являлся в деревню каждую Страстную пятницу вместе со свидетельницей Иговы, торговавшей своим товаром, несмотря на страдания Спасителя на кресте, когда всем вменялось сидеть тихо и чувствовать, как это ужасно.

Малый грех явился вместе с Ээвой-Лисой. Может, она прятала его в чемодане. Вообще-то за малым грехом скрывалась такая благородная мысль: чтобы Юханнес перестал нервничать. И чтобы Юсефина вновь обрела утраченного однажды ребенка. И поэтому она сжалилась над Ээвой-Лисой.

Но дети ведь вырастают. И коли они носят в себе заразу греха — похоже, становятся людьми. Поэтому люди такие чудные. Хотя Юсефина этого не понимала, и деревня тоже. Нет, словно чума греха, росло в ребенке что-то пришлое, хотя в приходе уверяли, что она вовсе не из пришлых, а скорее валлонка, но родом из царства джунглей Нюланда, в котором, как говорили, есть пальмы, и загадочные болезни, и обезьяны, лазающие по деревьям, и где не знали, что совсем близко находится таинственный остров с вулканом, а на нем громадные ели с ветками, похожими на Божьи пальцы, а вершина вулкана напоминает Костяную гору, и зимой она покрывается снегом и снежным сверканьем, и можно в валенках по твердому насту подняться наверх, и кругом сплошная чистота.

Первый раз я увидел ее как-то в октябре.

Подморозило. Они с Юханнесом, взяв коньки, сделанные дедом, спустились на лед. Дедушка сделал коньки для меня, пока он еще оставался моим дедом, он был деревенским кузнецом и умел мастерить подобные штуки. К деревянной подметке он приделал загнутый полоз из каленого железа с зубчиками впереди и подарил мне

на день рождения. Но я так и не успел ими попользоваться.

Потом они, вполне естественно, перешли к Юханнесу.

Я видел их с дороги. Эва-Лиса каталась на Юсефининых финских санках с шипами, Юханнес — на коньках, они хохотали. Все озеро было затянуто льдом, но они держались ближе к берегу, кромки незамерзшего устья, как обычно, были желтого цвета. Я стоял наверху, на дороге, и смотрел. Они были похожи на маленьких муравьев, хотя Эва-Лиса чуть больше.

Через час я ушел домой. Тогда-то я и увидел Эву-Лису впервые.

Вернувшись домой, если можно так сказать, я начал думать об Эве-Лисе, какая она. Целый вечер думал. С такого расстояния ведь хорошенько не рассмотришь, а мы с Хедманами в первое время после обмена к молитве не ходили, потому что им казалось, будто все на них глазекот. Но хоть я и не видел Эву-Лису вблизи, было проще простого представить себе, какая она.

У нее бледные щеки, красивые раскосые темные глаза, кошачье лицо и волнистые черные волосы, собранные на затылке в хвост. И ничто из того, что я увидел позднее, не смогло изменить эту картину, которая оказалась абсолютно верной.

Они вроде бы часто играли вместе.

Я начал шпионить за ними, потому что мне казалось важным знать, часто ли они играют. Когда пришла весна, стало полегче, ведь уже не было снега, на котором остаются следы. После мая наступило то самое лето, когда Альфильд превратилась в лошадь, но в сентябре я возобновил слежку.

По-моему, Эва-Лиса понимала, что надо защищать лягушек, потому что я ни разу не видел, чтобы, набирая воду, она прихватила хоть одну.

Когда я впервые увидел их у строгальни, было лето. Может быть, май. Снега я не помню. Или август? Они сидели на мостках, там, где я обычно мыл пивок и где вода черная и нельзя купаться из-за пивок. Я прошел мимо по мосту. Они сидели на мостках. Когда я прохо-

дил мимо, они замолчали, но Эва-Лиса подняла глаза. Я убедился, что она такая, какой я ее себе представлял.

Я без всякой зависти позволил Юханнесу там сидеть. Зависть, согласно пророку Иезекиилю, чуть ли не смертный грех. Я часто повторял это себе в последующие годы. И все равно мне было нелегко, когда я проходил мимо, а они сидели на мостках и болтали, замолкнув при виде меня, и Эва-Лиса подняла глаза.

Можно было вообразить себя пиявкой. Иногда можно было. Вот ты лежишь там, свернувшись, на илистом дне, потом начинаешь двигаться, распрямляться и всплываешь. Ну, как пиявки плавают, волнообразными движениями. И вот достигаешь поверхности воды и видишь их испуганные, онемевшие лица. Совершенно ошеломленные. Потом, не вымолвив ни слова и бровью не шевельнув, поворачиваешь и уплываешь, назад, в глущину, чтобы опять зарыться в ил.

Но справедливости не существовало. Одни были одиноки, другим присуждали и дом, и Эву-Лису, и кошку, а иногда и собаку. Почему нет справедливости?

Это все из-за Бога. А у Сына Человеческого, этого кутенка, который все таскался по дорогам Палестины, времени хватало лишь на тех, кто и так не был одинок.

Дело в том, что она *доверилась* Юханнесу. Я это упустил. А он не сумел сберечь доверенные ею тайны или правильно распорядиться ими.

Разбирая библиотеку, видишь, сколько всего она ему доверила. Она ясно и недвусмысленно рассказала — ему — о загоне для телят. Хотя он не понял, что она ему говорила.

«О двух годах, проведенных у Элона Ренмарка из Лонгвикена, она бы предпочла не рассказывать, но в ответ на просьбу сделать это все-таки как бы мимоходом изложила суть. Ей было одиннадцать, когда она попала к Ренмаркам, которые сжалились над нею, и тринадцать, когда она их покинула. Вполне солидное семейство. Элон Ренмарк был высок ростом, имел крутой нрав и часто бурно рыдал. Будучи очень чувствительным человеком, он нередко поколачивал своих детей, но несильно и недолго. Плакал он от бешенства или душевного

волнения: например, он много раз рассказывал историю о том, как его брату во время поминок по первой жене Ренмарка, которая умерла от рака, — как этому брату на десерт досталась груша из варенья. Были поминки. Груша плавала в сиропе. Брат ложкой попытался поднести грушу ко рту, но она соскользнула с ложки, и когда он начал ловить эту грушу из варенья — это было похоже на скользящую по льду неподкованную лошадь, — у него ничего не вышло. Он понапрасну гонялся за грушей по всему поминальному столу под беспокойными взглядами гостей. Они от ошеломления не могли пошевелиться. На столе образовался совершеннейший беспорядок, а груша довольно-таки сильно замызгалась.

Жена умерла от рака, много месяцев у нее были сильные боли, и под конец она орала что есть мочи, убийственная история. Элон Ренмарк был человек такого склада, что, рассказывая эту историю, он начинал дико хохотать, обливаясь при этом слезами. Все лицо бывало залито слезами. Считалось, что он слезлив и хороший рассказчик. Своих детей Ренмарк бил, чтобы преподать им урок, но сердце у него, как считалось, очень доброе, и по натуре он был человек чувствительный. Например, когда рассказывал занимательные истории.

Он легко нравился, потому что у него были такие сильные чувства и чуть что он начинал плакать, и, как считалось, из-за любви.

Досуг он посвящал тому, что по поручению прихода подкарауливал браконьеров, особенно тех, кто охотился на лосей, но его лишили этого поручения, оставив, однако, ружье, после того как он пальнул в подозрительного охотника и совсем незначительно ранил Фрица Хедлюнда из Гамла-Фальмарка в плечо. Хедлюнда признали невиновным, но можно думать что угодно.

Таким образом, ему было тем не менее отказано в его самом любимом досуге. Сказать, что он с самого начала невзлюбил Ээву-Лису, неверно, это могло быть неправильно истолковано.

Элон Ренмарк жил в Лонгвикене, и у него было четверо детей, все мальчики, и отчасти из-за мальчиков он жалел, что Ээва-Лиса — девочка. Тут она особо в подробности входить не захотела. Как-то ночью, приблизи-

тельно через год после того, как она попала к Ренмаркам, у нее страшно разболелся зуб. Всю ночь она не сомкнула глаз и назавтра не могла закладывать сено в ясли, как раньше. Поэтому в основном она занималась тем, что чистила граблями канавы или стояла без дела и распускала нюни. Следующую ночь она тоже не спала и иногда громко кричала, и утром вторая жена Элона Ренмарка, спокойная по характеру — первая умерла от рака, но в конце была буйного нрава, — так вот, она, чтобы обрести дома покой, поехала с Ээвой-Лисой на велосипеде к зубному врачу Эстлюнду в Бурео. Эстлюнд был родом из Мьодваттнета, но обучался на зубного врача в Стокгольме и имел хорошую репутацию, поскольку у него были ловкие пальцы.

Он прославился еще и тем, что на шкафу у него стоял череп, в котором были целы все зубы. Как бы пример для подражания. Обычно говорили, что это единственная целая челюсть в этой комнате.

Ээву-Лису усадили в кресло, и Эстлюнд произвел осмотр. Он остался очень недоволен ее зубами, но все-таки спросил, где болит. Когда она показала, он кивнул, подтвердив, что так оно и должно быть. После чего взял щипцы и выдернул плохой зуб, который болел, и заодно еще три плохих зуба, которые наверняка бы скоро разболелись. Необходимо, сказал он, — хотя ни Ээва-Лиса, ни вторая жена Элона Ренмарка, спокойная по характеру, может, вовсе и не считали их уж такими плохими.

Когда они возвращались на велосипеде домой, у нее все время шла кровь, но ведь до Лонгвикена всего-то двенадцать километров.

Кровь не остановилась, несмотря на поездку на велосипеде. Кровь шла целый день, и Ээва-Лиса так хныкала, что спокойствие мальчиков и второй жены Элона Ренмарка улетучилось. Вечером Элон Ренмарк разбушевался настолько, что чуть не заплакал, как когда рассказывал историю о брате и груше в сиропе на поминках первой жены, и, чуть не всхлипывая, заорал, чтобы она кончала нить. Так прошел вечер. Когда пришла пора ложиться спать, у нее все еще шла кровь, и вторая жена Ренмарка, спокойная по характеру, разволновалась и сказала, что она кровью может испортить матрас.

Тогда он взял Ээву-Лису за руку и отвел в загон для телят, где было полно соломы и где она, если хочет, может переночевать.

Она провела всю ночь в загоне для телят. С утра пораньше Элон Ренмарк направился к загону для телят и долго там стоял, глядя на Ээву-Лису. Потом вывел теленка и вернулся, ничего не говоря.

Это был почти единственный раз, насколько она помнит, когда он показался ей пригожим.

В то утро у нее болело все тело. Рот казался странно пустым. Ей было стыдно, что у нее такие плохие зубы и Эстлюнду поэтому пришлось их рвать. Год спустя зубной врач Эстлюнд вырвал ей все верхние зубы, и ей сделали вставную челюсть. Ей было тогда тринадцать лет.

Так вот обстояло дело в тот раз, когда она ночевала в загоне для телят. Она вовсе не плохо отзывалась об Элоне Ренмарке, но у него был буйный нрав и он чуть что начинал плакать, поэтому, наверно, и бил мальчиков. Ее он никогда не бил. Когда он пришел в загон для телят утром, он выглядел пригожим.

Вот каким образом появилась верхняя вставная челюсть».

По Ээве-Лисе не было видно, что у нее искусственные зубы.

Я думаю, он врет. Не было у нее искусственных зубов. Иначе я бы заметил. Напротив, у нее была красивая и чуть сдержанная улыбка.

Это правда. Если у человека искусственные зубы, это заметно. Все остальное — навет.

3

Библиотека: один из первых намеков на то, что произойдет.

Меня он не упоминает ни словом. Ему перешел зеленый дом. Это словно слышать, как часть тебя самого спокойно и чуть ли не с презрением говорит о другой так, точно ее нет, нет вовсе. Об изначально законной. И закрывая глаза на тот факт, что его обменяли, что я жил

в каком-то полукилометре оттуда. Что все это в общем-то мое, но что меня свергли с небес зеленого дома.

Цитирую полностью:

«На пригорке над зеленым домом стояли дворовые постройки — дровяной сарай и нужник, или уборная, как нам велено было говорить. Уборная — место, где можно было в тишине и покое почитать «Норран», — пристроена к дровяному сараю. Она стояла довольно высоко: распахнешь дверь, и перед тобой открывается вид на долину и озеро. Там можно было сидеть подолгу и слушать, как мычат коровы.

Дворовые постройки тонкой стенкой делились на две части: одна служила дровяным сараем, другая — уборной. У Санфрида Грена из Вестра-Хьогтбёле, у единственного в деревне, было два нужника: уборная, разделенная на два отделения. Этим он и прославился. Он имел два не потому, что был крещеным, все крещеные, а потому, что его отец, который построил нужники, хотел выглядеть зажиточным. Два нужника — признак того, что ты не мелкий крестьянин. Ничего не стоит спланировать два нужника, когда строишься: деревья вокруг навалом. Строишь два нужника и надеешься, что Господь даст тебе богатство. А потом как выйдет, так выйдет.

С Санфридом Греном потом немножко вышло как вышло, с ним случился детский паралич, и он выучился на сапожника и ездил на допрос к прокурору насчет этого соседского парнишки из Бурстеда, которому пришлось спустить штаны. А вернувшись домой, Грен стал молчаливым и сидел себе, с парализованными ногами и вывалив живот, и шил валенки. Если подумать, многие в деревне стали молчаливыми. Не из-за одного, так из-за другого.

В любом случае у него было два нужника.

Иметь два нужника — гордыня, обычно говорил Ямес Линдгрэн, читавший Русениуса. А гордыню Господь карает. И тогда заступничество Сына Человеческого, который просит: миленький Боже, — не помогает.

Вот такая беда может стрястись, коли построишь два нужника.

Я стоял в тот момент, о котором собираюсь сейчас рассказать, между осинами, где Юсефина вывесила сушить белье, включая и эти вязаные штучки, которые она

называла «кукольными ковриками» и не желала больше ничего объяснять, хотя у нас не было никаких кукол. И тут я увидел, как по тропинке поднимается Эва-Лиса.

Может, я и раньше об этом думал. Но сейчас решил сразу. Наверно, именно потому, что думал об этом раньше. Это было больше в шутку, но я все равно нервничал. Я тихонько прокрался вслед за ней к деревянному сараю и вошел туда через дверку с задней стороны. Снега не было, дело происходило в середине лета, так что следов не оставалось. Осины тоже нервничали, но они нервничали так часто, что не стоило и обращать внимание.

На мне были парусиновые туфли.

Я слышал, как она возилась с газетами в нужнике, искала небось в груде «Норран» еще не прочитанного Карла Альфреда. За бочкой задней стенки не было, об этом я подумал раньше. Пол сарая покрывал слой опилок, так что я не производил шума, и, кроме того, на мне были парусиновые туфли. Сердце у меня громко стучало, но этого расслышать нельзя, и по этому поводу я не нервничал.

Мы с Эвой-Лисой были дома одни. Юсефина в этот день убиралась в народной школе в Вестре, потому что помещение надо было вымыть до начала занятий. Этим она и занималась.

В дырку, левую, я увидел, как Эва-Лиса уселась. Попка у нее казалась вроде бы совсем круглой. Я никогда этого не забуду, потому что ведь думал об этом раньше. А теперь вот увидел.

Я часто размышлял, как она выглядит. Она была совсем круглая, в общем-то такая, какой я себе представлял, хотя, может, еще красивее. Собственно, ничего дурного в том, чтобы просто смотреть, не было, хотя наверняка грех. Вопрос только, смертный ли это грех, как пойти к причастию некрещеным, то есть такой смертный грех, который не под силу замолить даже Сыну Человеческому и из-за которого гореть в вечном огне. Я, наверно, все равно бы это сделал, даже если бы это было смертным грехом, столько я об этом думал, чуть не чокнулся. И вот теперь она оказалась точно такой круглой, как я себе и представлял, хотя еще красивее.

Потом я увидел, как ее попка, после того как Эва-

Лиса помочилась, исчезла из дырки. Я стоял не шевелясь и дышал открытым ртом, чтобы не шуметь.

И вдруг случилось ужасное.

Я увидел, как ее волосы, черные, длинные, такие прекрасные волосы, точно опустились в дыру. А потом появилась и вся голова, осторожно. И как она повернула голову и уставилась прямо на меня. Я стоял среди дров, ноги утопали в опилках, и словно бы превратился в соляной столп, не мог сдвинуться с места.

Мы смотрели друг на друга какую-то минуту. Ничего не говоря. Потом она осторожно втянула голову обратно, и я услышал, как она опустила деревянную крышку. Чем-то зашуршала, точно отложила газету. Открыла дверь и притворила потом за собой. И вышла.

Но к задней дверке не пошла.

Через полчаса или что-то в этом роде — возможно, и быстрее — я выбрался через заднюю дверку и спустился к дому. Она сидела на крыльце и ждала меня. Ничего не сказала, только приветливо взглянула на меня. Казалось, она даже приветливо улыбнулась, но она не улыбалась, и это было хорошо.

И вошла в дом. Юсефина вернулась с уборки. Эва-Лиса и потом никогда об этом не упоминала, ни словечком не обмолвилась, только иногда приветливо смотрела на меня. По-моему, это была вроде бы как наша первая общая тайна. Я ни разу не спросил, что она думает, но если у вас есть общая тайна, которая сперва была настолько ужасной, что ты чуть не умер, хотя тайна-то была ерундовая, то вы чуточку срастаетесь. И тогда все меняется. А потом появляются другие тайны».

Он вычеркнул несколько фраз. Но их все равно можно было прочитать.

Есть еще одна страница, где описывается то же событие. Там он пытается больше обратить все в шутку, так, как бывает, когда собираешься лгать по-настоящему.

Однажды я увидел их совсем близко, когда отправился со Свенном Хедманом, которому поручили установить новую железную печь в молевом доме.

Они не знали, что я их вижу. Я стоял у окна в модельном доме. Они огибали заросли шиповника, направляясь к роднику, и Ээва-Лиса несла в руке ведро.

Постоянно думать о ком-то — это все равно что лежать в муравейнике, это ужасно, воображаешь и воображаешь, как будто прилипаешь к смолистой щепке, в голове все идет кругом, именно потому, что все так безнадежно, не можешь думать ни о чем другом, знаешь, как она ходит, как смеется, и это мучение. Почему это должно быть так мучительно. Представляешь себе Ээву-Лису всю, целиком, от обкусанных ногтей до губ. И ежели надо делать что-то еще, например готовить обед, или что-то другое, что угодно, ты все равно точно вошь на смолистой щепке, нет, вошь умрет, а ты сам вынужден продолжать жить и думать, думать, но это мучение. В голове не укладывается, что это может быть так ужасно. Просыпаешься — ужасно, спишь — хорошо, потому что тогда ты можешь прикоснуться к ней и поболтать, но потом — хуже всего бывает, когда просыпаешься.

Если бы она никогда не приезжала.

Я хочу сказать: делаешься словно чокнутый. Хотя это только потому, что думаешь, не надо было бы думать, такое чувство, будто лежишь в муравейнике.

Ты видишь ее вдалеке, по другую сторону ручья, и не можешь перейти и поболтать, даже о пустяках, ведь по тебе, ты уверен, заметно, что ты лежишь в муравейнике. И хочется, чтобы она никогда не приезжала, потому что это точно обнаружить у себя внутри муравейник, и он там навечно, и тебе никогда, никогда не освободиться, если он у тебя внутри, и тебя прогоняют, и никогда тебе не сидеть рядом с ней, кроме того раза с тюльпанами на платье, и под конец в дровяном сарае Хедманов, но никогда, к примеру, в лосиной башне; там — никогда.

Мне кажется, я справился бы с обменом, почти, если бы она не приехала. Она была такая пригожая. Если бы только она не приезжала.

У меня болит голова.

Когда у меня болит голова, я начинаю думать о животных, чтобы боль прошла. О кошке, которая наделала на плитку, как она прыгала за шмелем до того, как ее выгнали. О птенцах, которые не поняли, что мы хотели согреть их листьями на ночь, и умерли, хотя мы ведь их не убивали. О лягушках в роднике, где я был смотрителем и защищал их. О телятках в загоне для телят, благодаря которому Элон Ренмарк стал пригожим. О лошади, которая ходила по кругу и отлично себя чувствовала.

Я кого-нибудь забыл? Наверняка. Птицу между оконными рамами и много чего другого.

Я стоял в молельном доме и слышал, как Свен Хедман возится с железной печкой. Я стоял так близко к окну, точно совсем не боялся, что они меня увидят. Они обогнули заросли шиповника и пропали из виду.

Птицы на рябине, про них я забыл. Или же я забыл дерево счастья.

«Если врага нет, надо его создать».

Да, пожалуй, он имеет право сказать так.

2. Разоблачение врага

Рыбку ту она в руки берет
и головой ее сильно о стену бьет.
Рыбка кричит, голова хрустит,
а луна тихонько в окошко глядит.

Боже, пусть она замолчит поскорей,
скрыть свой позор я должна от людей.
Пусть она больше не бьется,
из рук у меня не рвется.

1

Позднее мне бы следовало задуматься: что-то есть странное в том, что происходит. Тебе дают под дых, но на свете нет ничего непоправимого. Иногда бывает так ужасно, что хочется одного — умереть, но, как раз когда уже хуже некуда, ты знаешь, что все равно ка-

ким-то образом живешь. Чувствуешь. Тебя обжигает, и это остается в тебе жгучей точечкой боли. И значит, ты живешь, если только не потеряешь этого ощущения.

Вовсе ведь не обязательно считать, что все хорошо, надо только понимать — всегда есть что-то, что лучше смерти. И потому нужно сохранять то, что причиняло боль. Нет смысла прятаться и забывать, как сделали мы с Юханнесом. Ведь что иначе останется. Если не сохранить, ничего и не останется. И тогда нет смысла во всем том, что причиняло боль.

Тогда, значит, тебе просто было больно. Совершенно бессмысленно. Тогда, значит, ты был совершенно бессмысленным человеком.

Может, как раз то, что причиняло боль, и доказывает, что ты стал человеком.

Я вспоминаю притчу из послания Иоанна в Новом Завете, одно из тех мест, которое мы со Свенном Хедманом обнаружили в Библии в ту ночь.

Вот эта притча. Притча об осле и пустом горшке из-под меда, которую рассказывает Иисус.

У осла Иа-Иа, рассказывает Иисус своим ученикам, был день рождения, и, чтобы порадовать ослика, два его друга, Пятачок и Винни-Пух, принесли ему по подарку, а тот был из себя довольно молчаливый и задумчивый и часто тяжело вздыхал. Поэтому поросенок Пятачок купил своему другу воздушный шарик, а Винни-Пух — горшок меда. Однако по дороге Винни-Пух почувствовал голод и попробовал немножко меда, который оказался очень вкусным, а когда он добрался до Иа-Иа, горшок опустел. Пятачок бежал рядом с Винни-Пухом, держа в объятьях воздушный шарик, но вдруг споткнулся и упал, шарик лопнул, и от него остался лишь маленький клочок.

Когда друзья пришли на место, у них были только пустой горшок из-под меда и клочок лопнувшего шарика.

Отдавая подарки и сгорая со стыда, они рассказали Иа-Иа, что произошло. И пока Иа-Иа разглядывал подарки своим обычным печальным взглядом, его друзья не знали, куда деваться от стыда и горя. Но ослик взял клочок, оставшийся от шарика, и положил его в горшок. А потом, подумав немного, опять вынул клочок из гор-

шка. И снова положил его туда. Это, радостно сказал Иа-Иа своим друзьям, очень практичный горшок, в нем можно хранить разные вещи. А этот клочок — вещь, которую можно хранить в этом практичном горшке.

И вдруг друзья поняли — то, что они считали ничем, стало чем-то, — и они очень обрадовались.

Такова притча об осле и горшке из-под меда. Тебе дают под дых, но на свете нет ничего непоправимого. Ты сохраняешь то, что причиняло боль, и это оказывается намного ценнее счастья.

Вот так было с черной библией. Можно найти многое, если поискать. И это тебе помогает преодолеть трудности. Человек — всегда пустой горшок или лопнувший шарик, что может иметь большую ценность, сказал Иисус своим ученикам.

2

С тех пор как Альфильд увезли, когда она стала лошадкой, а потом умерла, мы со Свенном жили одни; и в час дня 4 июня 1944 года случилось так, что Юханнес, которого я часто видел, но с которым не играл из-за Эвы-Лисы, подошел ко мне во время длинной перемены и велел поскорее управиться с бутербродом с маргарином и молоком и прийти туда, где стояли козлы для дров, позади школы. Школа была Б-2.

Я сделал все, как он мне велел, но он был молчалив и сказал только, что хочет поговорить со мной в воскресенье, после службы. Я должен ждать его в лесу над уборной зеленого дома. Он мне что-то покажет, сказал он, но что именно — не уточнил.

Отказываться не хотелось. Поэтому я только кивнул и ничего не стал спрашивать. Тогда он добавил:

— Коли возьмешь ноги в руки после молитвы — будешь первым.

Все это было странно, но я кивнул, и он ушел.

От костра в Вальпургиеву ночь еще сохранился черный от огня круг, трава покуда не успела вырасти. Юханнес сидел на самой дальней скамейке молельного

дома и выскользнул первым. Я был один, потому что Свен Хедман стал теперь почти единственным в деревне, кто держался в стороне от Спасителя. Это толковалось по-разному, но воспринималось без одобрения. Я шел быстро.

Он уже ждал меня, когда я пришел.

На Юханнесе были фланелевая рубашка и брюки до колен, я узнал рубаху, но ничего не сказал. Когда я пришел, он лишь мотнул головой в сторону дороги, или, скорее, широкой тропы, тянувшейся вдоль переднего склона Костяной горы, — очевидно, хотел, чтобы мы поднялись туда. Мы двинулись в путь.

Лес я знал как свои пять пальцев. Оттуда можно было вести наблюдение. И прятаться там от врагов.

Я однажды вычертил лес почти так же тщательно, как зеленый дом. Чертить карты было очень важно. Я научил Альфильд чертить карту Швеции, где был помечен Хьоггбёле, в то время, когда она превращалась в лошадь. Она начертила десять, может, пятнадцать штук, но если я не помечал точкой Хьоггбёле, Альфильд сердилась и мычала. Помечать было важно, иначе она начинала волноваться и не могла чертить. Я чертил карты почти всего, что находилось вокруг, но чаще всего болото, помечая острова, и особенно старательно — Русский остров, куда я ни разу не ступал ногой, из-за русских и гадюк: он был вычерчен особо тщательно, с заливом захватчиков, и вулканом, и тропинкой вдоль ущелья с рухнувшей скалой, и со всем остальным.

Карту леса над зеленым домом я тоже чертил много раз.

От молельного дома шла дорога, скорее, тропа, которая все суживалась и суживалась и превращалась просто-напросто в тропинку. Юханнес шел впереди меня, ни единым словом или намеком не раскрывая своих замыслов. Он был светловолос и одет во фланелевую рубашку и парусиновые туфли. Юсефина, наверно, перешла рубашку и расставила ее — так, чтобы не испортить материю. Я сзади смотрел на его уши. О них немало писали в газетах, говорили в шутку в деревне, ни одни уши на свете не изучались так тщательно докторами и Верхов-

ным судом, как эти вот ушные раковины — мои и Юханнеса.

На мне тоже были парусиновые туфли. Точно такие же. Но на них никто не обращал внимания. Есть разница между сходством и сходством.

Юханнес шел быстро, время от времени оглядываясь, но смотрел в общем-то не на меня. А словно бы на кого-то у меня за спиной. Но там никого не было.

В конце концов я спросил, кого он высматривает. Он не ответил. Когда Юханнес оглянулся в очередной раз, я повторил вопрос. И тогда он сказал, глядя прямо перед собой:

— Врага.

Можно подумать, он дурачился или чокнулся. Но я ведь слышал по его голосу, что он вполне серьезен. И чокнутым не был. Это я знал, иначе бы в деревне о нем начали говорить то же самое, что говорили об Эрнфриде Хольмстрёме, который когда-то чокнулся и его увезли в Умедален. Эрнфрид Хольмстрём чокнулся, без всякого сомнения. В деревне прознали об этом немедленно. Его прикрутили к стулу в горнице, пришлось-таки, несмотря на его двадцать четыре года и на то, что из-за своей скромности он был всеобщим любимцем. Всем беременным женщинам в деревне наказали остерегаться смотреть на него: иначе ребенок в чреве матери будет отмечен родимым пятном на лбу. Но беременной была одна Малин Хэгтстрём, и ее держали подальше от него, так что проблем не было. Эрнфрид Хольмстрём вернулся из Умедалена через полгода совсем нормальным. Малин Хэгтстрём тоже родила нормального ребенка, без родимого пятна, хотя она и волновалась, несмотря на то что ее и держали подальше.

Но Юханнес в любом случае не чокнутый. Хотя, ясное дело, недоумевать-то я недоумевал.

Мы споро поднимались в гору, я аж вспотел под конец, но отставать, словно кляча какая, не хотел. Мы взбирались все выше и выше. И только метрах в двухстах от вершины, там, где стояла лосиная башня, Юханнес показал рукой на пещерный лаз под утесом и сказал:

— Влезай.

То была пещера мертвых кошек.

Там лежали три кошки, все мертвые. Первая была обглодана почти начисто. Наверно, девочка, потому что она была такая красивая. С белой, красивой головкой. Ее мы прислонили к стене, то есть к внутренней стенке пещеры, чтобы она в отверстие лаза могла смотреть на лес и деревню. Для мертвеца вид очень важен. Двух других, обглоданных не так чисто и довольно противных, мы закопали в землю, внутри пещеры.

Но это случилось до обмена, когда мы почти все время проводили вместе. Пять лет назад. Как ни странно, кошечка была на месте, точно в том же положении, в каком мы ее усадили.

Теперь она была обглодана дочиста, и все равно красивая, лучше прежнего. Она сидела и смотрела на лес, и вид у нее был спокойный и пригожий.

Юханнес сел у входа, прислонившись спиной к стене. Такой серьезный, что казалось, будто он нервничает.

— Я просто подумал, что тебе тоже надо знать. Они приходят сюда каждое воскресенье после службы, и сегодня скоро явятся. Служба кончилась.

Я не понял ни шиша, поэтому он объяснил:

— Я сообразил, что тут что-то странное, потому как он приехал аж из Вестербёле, а он не из тех, кто прежде ходил к молитве. Тем более здесь. Так что тут есть что-то странное.

Он со значением кивнул.

— Кто? — спросил я.

— Враг, — ответил Юханнес.

По мне, наверно, было видно, что я по-прежнему ничего не понимаю. Поэтому он пояснил:

— Он забирает с собой Ээву-Лису, и они идут по этой тропе. А потом влезают в лосиную башню. Это ужасно.

Кошечка спокойно взирала на долину, и вид у нее был пригожий. Интересно, слышала ли она? По крайней мере она и в ус не дула. Конечно, коли ты мертвяк — в ус не дуешь, вполне естественно. Я напрягался изо всех сил, но ничего не понимал.

— Она с ним по своей воле ходит? — спросил я, на-

деясь, что он скажет «нет», и тогда я совсем перестану что-нибудь понимать, и все, может, окажется шуткой.

— Они ходят и обжимаются, — ответил Юханнес. — Я хотел рассказать тебе об этом, потому что заметил, что ты следишь.

Он заметил. Или, может, Эва-Лиса обмолвилась. Я только тарасился на мертвую кошечку.

— Ты единственный, кому я рассказываю об этом, — сказал он, — потому что мы должны защитить Ээву-Лису.

Это я понял. И кивнул, конечно, само собой, это так же важно, как лягушки. А потом не прошло и минуты, как мы увидели их.

Я сразу же узнал его.

Он жил километрах в двух, в Вестре, и был известный человек, играл в футбол, полуцентровым, всеобщий любимчик, прямо-таки пример для молодежи, говорили о нем, хотя точно не знали, крещен ли он, потому как в Вестре они не такие верующие, как мы, в Шёне. Юханнес прав, ведь верно, очень странно, что он начал ходить к молитве в Шён. Довольно-таки рослый, он не раз своим свободным ударом спасал команду в трудные минуты. Они прошли всего в десяти метрах ниже пещеры мертвых кошек.

Это его Юханнес называл Врагом.

В Вестре начали гонять в мяч несколько лет назад, когда кому-то пришла идея скатать бумажный мячик из страниц «Норран» и обвязать его шнурком; так они гоняли этот «мячик», пока не получили настоящий и не заиграли всерьез. Ларсу Оскару Люндбергу, так его звали, было двадцать пять, и полуцентровым он стал благодаря своему свободному удару и прославился во многих деревнях, хотя в Шёне те, кто помоложе, старались помалкивать о нем в присутствии взрослых, потому как футбол считался делом греховным. Оттого-то, верно, Юханнес и заподозрил неладное, когда тот стал приходить к молитве в Шён.

У нас в деревне в футбол никогда не играли, по естественным причинам, и помимо религиозных соображе-

ний было еще одно — незачем вытаптывать заливные луга.

Я мгновенно забыл о том, что он всеобщий любимчик, и стал думать о нем как о Враге. Держа чуть неловко Ээву-Лису за руку, он ей что-то говорил, но так тихо, что не расслышать. В сторону пещеры они не смотрели. На ней было нарядное платье, то самое, с тюльпанами.

И вот они прошли мимо. Мы покинули пещеру мертвых кошек и крадучись двинулись за ними.

Они ни разу не оглянулись. Не думаю, чтобы они могли себе представить, что за ними следят. Когда они свернули за угол, мы осторожно прокрались к следующему повороту, но, поскольку Юханнес знал, куда они направляются, мы не беспокоились. Они почти все время держались за руки.

Все было ужасно. Не знаю, что именно было ужасно. Это как с теткой у автобуса, той, что обняла меня, на глазах у Ээвы-Лисы. Тогда тоже было ужасно, хотя не так ужасно, как обычно. Когда Альфильд сидела в кровати в Браттбюгорде, было ужасно, но не так, просто ужасно. Теперь было ужасно по-другому.

Юханнес наверняка чувствовал то же самое. Но с ним дело обстояло таким образом, что я никогда не решился спросить у него о чем-то, хотя он и был как бы частью меня. Напрочь сросшаяся, но в то же время совсем чужая половина.

Почему должно было быть так? Я часто думал: почему все это должно было случиться?

С расстояния метров в сто мы видели, как они забрались в лосиную башню на вершине Костяной горы. Красивая постройка, ведь деревья вокруг сколько угодно.

Они провели там час. Их было не разглядеть — из-за метровой высоты ограды.

Я почти наверняка знаю, как было дело. Он небось робел, а она была нежная и одинокая. И она погладила его по щеке. А поскольку они находились довольно высоко над землей, и было тепло, и ласковый ветер, и они точно парили в облаках и могли забыть обо всем, что осталось там, под ними, под конец они, пожалуй, перестали бояться.

Я ведь знаю. На ней было платье с тюльпанами.
Потом они слезли вниз.

Я никогда не боялся умереть. Но я не хочу умирать, потому что сперва мне нужно все свести воедино.

Сперва свести воедино, закончить. Потом можно перестать умирать. Поэтому, верно, я еще и живу.

По дороге домой мы не разговаривали — мы с Юханнесом.

Мы потом долго сидели в пещере мертвых кошек. Мы и прелестная кошечка с белой головкой, которая задумчиво смотрела на лес, на долину и деревню, где я когда-то жил.

Что-то она думала о нас. Что-то думала.

3

С того момента мы с Юханнесом виделись чуть ли не ежедневно. Так что я знал.

Он записал кое-что из того, что было известно ему самому, в библиотеке капитана Немо. Большая часть — правда. Хотя про самое трудное, как защитить Ээву-Лису от Врага, вроде как забыто.

«В последующие несколько дней Ээва-Лиса была молчаливая, но веселая, правда, со мной почти не разговаривала. Точно стеснялась или ей стало неинтересно. Виноват, конечно, был Враг, а не она. Понятно же, как могло обстоять дело. Юсефина ничего не подозревала, и мы договорились не рассказывать ей об Ээве-Лисе и Враге.

Они ходили в лосиную башню еще несколько раз. Но потом что-то произошло. Я сам это обнаружил. Как-то в четверг вечером поднялся туда и увидел.

Кто-то спилил башню.

Сделано было неаккуратно, поэтому я понял, чья это работа. Он пилил обыкновенной ножовкой, как мне кажется: сперва подпилит угловой столб, и пилу не зажало, потому что он вогнал клин, а потом два других, но уже небрежнее, поэтому в нескольких местах, там, где он на-

чинал по новой, виднелись засечки. После чего башня опрокинулась, или, скорее, ее свалили, точно тот, кто это сделал, был необыкновенно силен. И она упала на сторону.

Так что теперь визитам в эту башню пришел конец.

В голове не укладывается, каким образом такой слабак мог оказаться таким силачом. Он сделал это, наверно, ночью. Небось страху натерпелся или же был в бешенстве.

Калле Бюстрём обнаружил случившееся спустя неделю. И об этом стало известно всем. По Ээве-Лисе я видел, что она испугалась, услышав новость. Может, поэтому так скоро и кончилось все между ней и Врагом. Куда им было ходить теперь, когда башни не стало. И тогда они небось смекнули, что к чему, и наступил конец.

Внизу, у доильного стола, деревенские, обсудив событие, пришли к выводу, что совершенно злодеяние. Хотя никто не понимал, что к чему.

Полуцентровой перестал ходить в молельный дом в Шёне всего месяц спустя.

Что тут скажешь. Он просто исчез. Точно никогда и не существовал. Что же тут можно сказать.

Я ничего и не сказал об этом Ээве-Лисе».

Я был со Свеном Хедманом, когда его мама умерла. От рака. Свен не захотел сам заворачивать тело в саван, так что мне пришлось помогать, вместе с соседкой.

Если предположить, что обмен произошел правильно, если попытаться представить, что Верховный суд и доктора с их ушными раковинами правы, хотя этого никак не могло быть, то ведь она, что ни говори, была мне бабушкой.

Она только закашлялась, вздохнула пару раз и умерла. Я сидел в углу, потому что Свен Хедман давал волю горю внизу, в кухне, так что мне пришлось быть с ней. Только она и я. Когда мы возились с простыней, я почувствовал, что она вся потная, хотя уже почти холодная. Простыня съехала набок, и я увидел одну ее грудь. Я впервые видел женскую грудь. Потом соседка закрыла ее. Все было торжественно и ничуть не ужасно.

Я и не знал, что смерть может быть такой — тихой, задумчивой и торжественной. И было очень странно, как будто покойница с помощью своего чуть потного и в то же время холодного тела пыталась рассказать, что значит жить или что значило. Вот какой она была при жизни, но она мне об этом сказала, только когда умерла.

Это я спилил лосиную башню. Но был не в силах по-настоящему стыдиться этого. Ты совершаешь свои злодеяния, но если всего стыдиться, что за жизнь будет тогда.

Сделал я это не ночью, Юханнес написал неверно, он всегда старался чуточку приврать, чтобы не все было так очевидно. Но действительно использовал ножовку.

Думаю, он это определил по спилу.

В библиотеке много записей про вину. Но вряд ли то, что я спилил лосиную башню, отпугнуло Врага от Эвы-Лисы.

Потом ведь наступила осень. И зима, ужасней которой никто не помнил. И в лосиную башню они все равно бы ходить не смогли.

Так что эту вину я вычеркиваю.

Вина, и слезы. И Сына Человеческого не сыскать. Только капитана Немо, ежели он по-прежнему захочет помочь такому бедолаге, как я, вернее, как мы.

В благодетелях большая нужда.

4

Зима в том году пришла рано.

Снег пошел уже в сентябре, это довольно обычное дело, странно только, что он все шел и шел. В октябре навалило уже под полметра, стояли холода, портовым грузчикам в Буре пришлось закончить работу на месяц раньше, и Свен Хедман ходил с озабоченным видом, потому что жирный кошель превратился в тряпицу для процеживания кофе, как он шутливо выражался в те редкие моменты, когда пытался шутить. Снег придавил своей тяжестью все побережье, и те, кому предстояло от-

правляться на порубки, знали, что тащиться придется по колено в снегу и за шиворот снега набьется достаточно. Но хуже всего приходилось лошадям — ведь они были взмылены и могли простудиться. У Свена Хедмана не было лошади, но его постоянно одолевали мысли о том, что лошадям будет тяжелее всего.

Я начал заглядывать в зеленый дом, когда становилось известно, что Юсефина ушла помогать с выпечкой. Ведь я знал, что она замолкала и лицо у нее делалось странное, когда она видела меня, и что в деревне болтали всякое. Поэтому так было лучше.

Юханнес ни разу не обмолвился о спиленной лосиной башне. Но Эва-Лиса изменилась.

Она стала сторониться всех и уже не была такой веселой, как раньше. Однажды, когда я пришел, она сидела на диване и хлопала носом, а рядом Юханнес, который все повторял — ну миленькая, ну пожалуйста. Непонятно, что с ней произошло. В каком-то отношении она оставалась прежней, и я помню, какой нежной казалась ее кожа, когда я в шутку брал ее за руку. От нее пахло мылом, и она была нежная. Но она изменилась. Она чуточку поправилась, не так чтобы стала толстой, нет, просто немножко пополнила, может, округлилась, во всяком случае, поправилась. Я обычно, приходя и здороваясь, говорил, что «все при ней»; я говорил это от всего сердца, а она смотрела на меня так, будто я сказал какую-нибудь гадость. Так что я всего два раза сказал, что все при ней.

Хотя вообще-то так говорят, желая сделать приятное тому, кому вроде бы не составляет труда удерживать пищу в желудке.

Но она легко раздражалась. Поговорить-то ей было не с кем, кроме Юханнеса и меня. А с тех пор как спилили башню и Враг исчез, точно его никогда и не существовало, точно его выдумал Юханнес, чтобы напугать или чтобы не испытывать стыда, ее окружала еще более плотная тишина.

Как-то раз она была одна дома, когда я пришел.

Юханнес отправился в «Консум», или в «Коппру», как вообще-то называли магазин, но она все равно меня впустила. По-моему, ей хотелось поговорить. Она усадила меня на диван и показала мне свое вязанье. Ей взду-

малось научить меня вязать, и я не стал ей сообщать, что Юсефина в свое время научила меня вязать кухонные прихватки.

Первый ряд она вывязала сама, потому что мне не справиться, пояснила она. А потом дала мне попробовать.

Вообще-то странное было чувство. Ээва-Лиса сидела совсем рядом. В платье, которое сама сшила, сообщила она. Первое, которое она сшила сама, то есть все платье от начала до конца — купила ткань, сделала выкройку, раскроила и сшила. Ей хотелось сделать сюрприз маме, или Юсефине Марклюд, как она ее называла, когда сердилась, или иногда просто Марклюд, тогда, значит, дело было совсем плохо, радостно поразить маму своим умением. Так она задумала.

Материя была гладкая-прегладкая. Мне позволили пощупать. Это было выходное платье с тюльпанами. Я долго рассматривал цветы, потрогал их. Тюльпаны были перевернуты вверх ногами, росли, так сказать, цветком книзу. Я спросил ее, почему она расположила их таким образом, ведь они обычно растут цветком кверху. Но тогда она снова вроде как изменилась и сказала, что Юсефина тоже обратила на это внимание. При раскройке она случайно перевернула ткань, и теперь цветы росли вверх ногами.

Особого сюрприза не получилось, сказала мама.

Тогда я начал уверять ее, что так даже красивее. И я слышал, что за границей бывают цветы, которые растут вверх ногами, не в районе Стокгольма, а в Нюланде, где есть и пальмы; это далеко, к югу от Нурдмарка, если смотреть с этой стороны.

Не надо думать, будто все тюльпаны одинаковые, сказал я.

И тогда она провела рукой по моим волосам.

— Ты такой же черноволосый, как и я, — произнесла она, — а душа у тебя белая.

Она считала, что у меня умелые руки. И взяла мои ладони в свои, чтобы посмотреть повнимательнее. И сказала, что тыльная сторона нежная и мягкая и, наверно, поэтому-то руки у меня такие умелые и я так быстро все схватываю.

Это было все.

Я часто потом вспоминал, как мы сидели рядышком и упражнялись в вязании. Хотя мне думается, что оно не слишком занимало наши мысли — ни ее, ни мои, — но нам обоим было трудно дышать. Трудно объяснить это тому, кто не бывал в таком положении. И будь я другим, таким же храбрым, как Юханнес, который мог запросто сидеть рядом и говорить: ну миленькая, ну пожалуйста, таким, каким я всегда мечтал быть, но не смог стать, тогда бы я прислонился к ее плечу. И тогда бы щекой прикоснулся к платью, на котором тюльпаны росли вниз головой, к земле, или праху, как говорили в молельном доме. И тогда бы мы были как брат и сестра, и укрылись бы во прахе, где только мы и тюльпаны могут расти, и лежали бы там, свернувшись калачиком, как пиявки в речном иле, и нам бы ни разу не захотелось всплыть и расти, и мы со старшей сестренкой никому бы не раскрыли своих тайн, только друг другу, и ни один из нас никогда бы не покинул другого.

6

Ей приходилось нелегко с Юсефиной, как я понял. Поскольку обе питали такие большие надежды, они, верно, возненавидели друг друга. Не было бы у них надежд, все сложилось бы лучше. Никто, в общем-то, не пытался понять Юсефину, потому что ее и без этого достаточно уважали, и тогда человек делается очень одиноким.

Но я заметил, что Эва-Лиса вроде бы как повеселе-ла, когда я сказал насчет тюльпанов. Я говорю «вроде бы как», потому что теперь она уже не могла быть по-настоящему веселой. Но что-то в этом духе.

В детстве многое было «вроде бы как». Когда что-то было «вроде бы как», приходилось долго думать, чтобы понять: все было не таким, каким казалось.

Мама оледенела, и хуже всего было, когда нас с Юханнесом обменяли. Тогда стало хуже всего, и потом так и продолжало быть хуже всего, и она оледенела. Тем, кто оледеневаает, наверняка хуже всего. Как Эрикссону

из Фальмарксфорсена, которого придавило сосной, и он написал «Милая Мария, пожалуйста, ты...» свободным пальцем. Мама, может, тоже оледенела, хотя у нее даже свободного пальца не было, и снега, чтобы писать на нем, и никого, кому она могла бы написать «Милый». Иногда мне представлялось, что она мечтала заползти в рану на боку Сына Человеческого, где будет тепло и уютно и можно оттаять. И перестать думать о том, что случилось. Но Сын Человеческий не из тех, кто приходит на помощь, когда в нем нуждаются, она это тоже, наверно, узнала.

Куда бы она ни кинула взгляд, кругом виновата. Юханнес не стал эдаким славным мальчуганом, а уж если избранный не стал, так с отвергнутым дело обстояло еще хуже.

И тогда Ээве-Лисе достался злой глаз. Она несла кару. Правда, ее чисто и хорошо одевали и кормили досыта, за этим Юсефина следила. И не держалась за те гроши, которые ей выплачивал приход.

Ни в коем разе. Юсефина не упускала случая подчеркнуть это. Когда об этом заходила речь, не упускала случая подчеркнуть. А так как Сын Человеческий не желал раскрыть ей рану на своем боку, вот и приходилось стоять на морозе и подчеркивать.

Я часто думал об Ээве-Лисе, когда пришла зима.

Снег все валил и валил, и в конце концов нас погребло, точно летних мух в вате между рамами, которую, как я был уверен, Господь положил мухам вместо праха. Господь был милостив к мухам и разложил вату, чтобы они могли на ней спать до мая, когда он их выметал, но с людьми он вел себя, скорее, злобно, я никогда не понимал Господа.

Однажды в начале ноября я встретил Ээву-Лису внизу, у почтового автобуса. Мне предстояло принять мешок в дверях автобуса и отнести его к Сельстедтам, где почту раскладывали на диване, чтобы каждый мог взять свое. Обычно за мешком ходил я. Ээва-Лиса никогда почту не забирала. Но сейчас она стояла там. Как будто ждала меня.

И она сказала:

— Ты должен мне помочь.

Она хотела, чтобы ей помог я. Никто другой. Даже не Юханнес, это было самое странное. Словно бы он вообще не существовал, хотя был такой пригожий и всеобщий любимчик. И я не стал спрашивать. Но иногда мне кажется, что это было, пожалуй, связано с тюльпанами.

Она нуждалась в помощи. Так вот и началось по-настоящему ужасное.

Назавтра она прошла весь путь до дома Свена Хедмана по снежной целине. Я был дома один, потому что Свен пилил лед для ледника Петруса Фюртенбака, того самого, которого застукали за распитием пива. Но чего ждать от человека с таким именем, повторяли в деревне.

Об этом я и рассказал Ээве-Лисе, когда она пришла, и при этом громко хохотал. По-моему, она поняла, что я страшно нервничаю. Нет, не нервничаю, а боюсь. Я рассказал несколько историй о Петрусе Фюртенбаке. Она не засмеялась.

Мне делалось все страшнее и страшнее. Мы сидели в кухне, и я заставлял себя есть, но она не захотела ни булки с куском сахара, ни брусничного напитка.

И тут она сказала:

— Кажется, у меня будет ребенок.

Я часто рассматривал картинки в семейной Библии в зеленом доме — у Хедманов не было Библии, — хотя, будь они в любой другой книге, наверняка бы считались греховными. Греховное всегда было связано с женщинами, потому что их все по-своему любили, они были почти пригожими. Греховные картинки можно было найти, например, и в каталоге фирмы «Олен и Хольмс», с которым застукали одного из мальчиков Бюрстедтов, когда он разглядывал их в нужнике, забыв запереть дверь изнутри, и потом, в молельном доме, ему пришлось перед всеми просить Бога простить его за то, что он согрешил. Но каталог ведь не Библия.

Библия не может быть греховной, греховной делала ее в таком случае лишь собственная грязь. Различали два вида грехов — те, которые можно простить, и смертные грехи, за которые полагалась геенна огненная. Не знаю,

считалось ли смертным грехом марать Святое Писание греховными мыслями, но после признания старшего из мальчиков Бюрстедтов в моельном доме его мама спросила проповедника, было ли это смертным грехом, то есть вот эти грязные мысли, а может, и действия, она не уточняла, при разглядывании рекламы бюстгальтеров в каталоге «Олен и Хольмс». На что проповедник, это был Брюггман, ответил отрицательно. Старшего мальчика Бюрстедтов простили.

Вернее так: сперва проповедник засомневался и задумался и сказал, что это зависит от обстоятельств. Мама ударилась в слезы, не желая, чтобы это от чего-то зависело. Тогда он сказал, что это обычный грех, который теперь прощен. После чего она, вознеся хвалу Господу, отправилась домой и вычистила загон для свиней.

С Библией все ж таки было куда хуже. Я долго лежал без сна и каждый раз горячо молился Сыну Человеческому.

Голову себе я особо этим не забивал, но женщины были искушением именно из-за своей пригожести. В Библии, то есть в Ветхом Завете, были картинки всемирного потопа — морские волны захлестывали почти ничем не прикрытых женщин, и те тонули. Как Эрик Лундквист из Гамла-Фальмарка, когда он утонул в Шёбусанде, а его жена, которая вместе с детьми сидела в этот воскресный день на берегу, чуть не свихнулась, и женщины, находившиеся поблизости, ее утешали. Он был весь синий. А еще картинка, изображавшая львов, поедающих почти неприкрытых женщин, и всякое другое.

Это надо же, чтобы Господь создал нечто такое, как женское тело. А потом запретил думать об этом. Конечно, думать было можно, но думать и надеяться, что это не смертный грех, который карается геенной огненной.

Не знаю, зачем я это говорю. Не знаю, зачем я рассказывал ей истории о Фюртенбаке. Наверно, нервничал. Но я знаю, что чуть не чокнулся, когда она сказала это.

Она возвращалась домой, утопая в снегу, при дневном свете.

Она все говорила и говорила, но я ничего не мог ей посоветовать. Что я мог сказать. Я же не Юханнес и не

капитан Немо, а Сын Человеческий, как всегда, где-то прятался, к тому же ему ничего не стоило насплетничать Богу. Почему она призналась мне? Не Юханнесу, не Врагу, не Юсефине, а именно мне. И единственное, сказал я себе потом, единственное, в чем можно обвинить меня, — что я спилил лосиную башню.

Ночью я все-таки призвал Сына Человеческого, у которого, как обычно, не было времени, потому что он был по горло занят тем, что проявлял милость ко всем остальным на свете. Тогда я призвал Благодетеля, того, кто сжалился над попавшими в беду и очутившимися в безвыходном положении на острове у берегов Нюланда, капитана Немо.

И у капитана Немо время нашлось. Очень типично. Он явился ко мне ночью и успокаивал и утешал меня.

Милый, сказал капитан Немо, пожалуйста, успокойся. Бог об этом еще не знает, а у Сына Человеческого нет времени, потому что он сидит и расковыривает рану у себя в боку, чтобы она открылась всем, кто захочет туда залезть. Но никто не может отобрать у тебя Ээву-Лису. Она в большой беде, и теперь ты должен стать ее благодетелем.

А что же с этим всеобщим любимчиком, полуцентровым из Вестры, спросил я, с Врагом, ведь это он сделал ей ребенка?

Тут у капитана Немо появилось нечто почти провидческое во взгляде, и он сказал: «Я думаю, он уехал на юг, в Умео, где его двоюродный брат служит унтер-офицером в полку. И собирается устроиться на работу. И мне кажется, он больше не желает ее знать. И ты не можешь его за это обвинять. А должен стать ее благодетелем, теперь, когда она попала в беду».

«А Юханнес?» — спросил я.

Но тут капитан Немо исчез, а я лежал в кровати и трясся как в лихорадке.

Если бы хоть снег не валил так ужасно. Можно подумать, что Господь готовил смерть мухам между рамами. Я обещал встретиться с ней на следующий день.

Что это за жизнь, когда Сын Человеческий где-то прячется. И капитан Немо тоже не знает, что делать.

И говорит, что только я могу.

Эва-Лиса сказала, что, наверно, не решится пойти к молитве в воскресенье и, уж во всяком случае, не пойдет на собрание Союза молодежи во вторник и пятницу. Потому как все наверняка заметят, что она согрешила.

Ничего не было заметно. Хотя ей, верно, казалось, что заметно по ее глазам.

Сейчас, скоро.

Я так всегда пишу, когда мне еще очень далеко до цели. Или когда боюсь, что вот-вот ее достигну.

В библиотеке он иногда пытался писать моим почерком, но видно, что это его рука. Он тоже молился капитану Немо. Хотя ему-то дали четкий ответ.

«Посреди ночи, после того, как Эва-Лиса ушла надолго из дома, чтобы сообщить то, что я уже знал, меня посетил капитан Немо. Он был моим благодетелем, и я понимал, что должен показать ему свою огромную благодарность. Поэтому я попросил его наставить меня на путь истинный, поскольку был в полной растерянности.

Как нам помочь Эве-Лисе в беде, которая скоро станет очевидной всем.

Капитан Немо со своей седой бородой выглядел постаревшим, длительное одиночество в подводном корабле оставило следы на его лице. Когда я высказал все, что собирался, он произнес: «Юханнес, это не ее страдание, а твое. Ты должен ее предать».

Тогда я спросил, что это за чудовищный совет от благодетеля, который раньше всегда проявлял такое расположение к попавшим в беду поселенцам на острове с горой Франклина. И он ответил, что есть только три сорта людей: палачи, жертвы и предатели. Я поинтересовался, к какому из них отношусь я. Об этом, ответил он, он говорить не хочет. Я начал хлюпать носом. У него седая борода и он мой благодетель, но я был уверен, что мне он уготовил роль предателя. И я ему сказал, что я не какой-то там гад Иуда. Тогда он ответил, что предатель тоже человек, у тела много членов, рука не может быть глазом, слабому нужен сильный, но без слабого тело умирает, предателей мы должны защищать, как лягушек. Как он смеет такое говорить, не хочу я, чтобы меня приговаривали к предательству. «Но ты, — сказал он на это,

улыбаясь своей грустной и редкостной улыбкой, — не только предатель, но и палач и жертва». — «Что же, значит, я всё?» — прохныкал я.

Да, ответил он, ты, как и все другие люди, всё».

Человек всегда надеется на чудо.

Кто не надеется, не человек. А я — какой-никакой, все-таки человек.

3. Происшествие в деревянном сарае

Ээву-Лису, старшую сестричку,
в деревянном нашли сарае.
Тихо-тихо там она лежала,
точно рыба в ледяной купели.

1

В восемь вечера 3 декабря Ээва-Лиса пришла ко мне домой и попросила выйти в сени для разговора.

Оказалось, Юсефина что-то заметила. Почему — Ээва-Лиса сперва не говорила. Но Юсефина что-то поняла, а потом ей сообщили. Вот вкратце содержание рассказа Ээвы-Лисы, пересказать который нелегко. Да и коротко не получится.

Юханнес частенько врал, сейчас, когда я свожу воедино, я это понимаю.

Вообще-то многое из того, что он оставил в библиотеке, не увертки и не ложь. Скорее притчи, вроде библейских, тех, которыми пользовался Сын Человеческий, когда слишком боялся Господа, потому что тот бы его наказал, если бы он сказал, как оно есть на самом деле.

Но Иисус, пожалуй, вовсе не был лгуном или трусом — все-таки. Он был как Юханнес, обычно думал я, когда знал, что должен защищать.

Иногда важно было защищать и другое, не только лягушек.

Потом читай себе как хочешь: множество вольных

толкований — и крошечное зерно истины, которое он запек в середину, как кусочки жареной свинины в кровяную запеканку.

Надо разрезать, открыть.

Он записал историю о том, как Эва-Лиса стащила двадцать пять эре и как все это было ужасно; лишь много позже я понял, что же он хотел скрыть.

Им пришлось, всем троим, упасть на колени перед кухонным диваном и спеть псалом, после чего помолиться Господу, чтобы он смилостивился над ними и зараза греха не тронула невинного сына.

Зараза греха — это двадцатипятиэревая монетка. То есть что Эва-Лиса ее украла.

Хотя на самом деле, может, было не все так просто. Он, наверно, написал притчу о коленопреклонении перед диваном, притчу об украденных двадцати пяти эре, в которой говорилось о старой матери в зеленом доме и ее необъяснимой ненависти к Эве-Лисе.

Не заразиться грехом.

Нет, все, может, было не так просто. В том-то и кроется проблема всей библиотеки капитана Немо, она полна притч. И я в конце концов это понял.

«Библиотека». «Сигнал». Все слова — притчи. Поэтому-то он, верно, и решился оставить мне притчи. Которые я, может быть, и пойму, но никогда не осмелюсь пересказать.

Я не смог ей простить, что она меня обменяла. И то, что сделала с Эвой-Лисой.

Но, возможно, я стираю у нее все остальное, все то, что могло бы объяснить. Стираю, и она становится совсем простой, белой и невидимой; как если бы написать пальцем что-то на снегу, а потом стереть рукой.

Почему бы не представить себе, что она написала мне пальцем на снегу «Милый, пожалуйста», точно придавленный деревом лесоруб, но ее послание стерли живые благодетели. Так оно оказалось стертым для Юсефины, и так оказалась стертой она сама.

Что бы она могла ответить на вопрос, о котором я не желал знать.

Говорили, что Юсефина приехала последним вечерним автобусом в тот день, то есть в день, когда умер папа: мне было всего шесть месяцев, так что сам я не помню.

Ее высадили у строгальни; дело было в марте, поздним вечером, снегу еще по колено, и шофер, его звали Марклин, повернулся к пассажирам и спросил, не сжалится ли кто над ней. Но она не пожелала. И пошла по глубокому снегу к опушке леса, где стоял зеленый дом.

Дом был погружен в темноту.

Невероятный первый шаг в долгое одиночество: как головокружительный шаг в необъятную пустоту.

Если она знала, что такое быть покинутой, как же она могла покинуть меня.

Хотя я ведь мог спросить.

2

Она вызвала его и Ээву-Лису в кухню, усадила их на кухонный диван, пододвинула стул и, сев напротив, приступила к допросу.

Как ей стало известно, кстати благодаря Сельме Линдгрэн, Ээву-Лису видели вместе с всеобщим любимчиком, полуцентровым из Вестры, который, говорят, уехал из деревни и начал работать в Умео и теперь живет в Теге, и что они тайком обжимались, но их все-таки видели, и сейчас она спрашивает Ээву-Лису, правда ли это, и может ли Юханнес что-нибудь добавить. Перед четырьмя парами глаз, четвертая пара — Господа, она желает услышать честный ответ. Она взяла к себе Ээву-Лису, подчеркнула она, сжалившись над сиротой, чья мать прославилась своим распутством. Но к самому распутству она безжалостна. Его она в своем доме не допустит. Ни-ни.

Юханнес не осмеливался рта раскрыть, а Ээва-Лиса сидела, сжав зубы, точно была рассержена или потеряла дар речи, и тогда Юсефина повторила вопрос: обжимались ли они с парнем из Вестры.

И Ээва-Лиса только и выдавила:

— Вовсе мы не обжимались.

Юсефина еще раз спросила, перед лицом Господа, обжимались ли они. И Эва-Лиса повторила:

— Все мы не обжимались.

С таким видом, будто ее больше всего бесит именно это слово.

Тогда последовал вопрос, считает ли Эва-Лиса Сельму Линдгрэн лгуньей. В таком случае она призовет ее как свидетеля. И тут Эва-Лиса вновь раскрыла рот, как бы для того, чтобы заверить, что они не обжимались, потому что, похоже, ей не нравилось именно это слово, но закрыла его, не сказав вообще ничего — ни о Сельме Линдгрэн, ни об обжимании. Но в конце концов, однако, произнесла:

— Все уже кончено.

Они надолго замолчали, обдумывая, что бы это значило. После чего мама повернулась к Юханнесу и спросила, знал ли он об этом. Очевидно, больше ни в каких сведениях относительно обжимания она не нуждалась. Обжимание имело место, даже если Эве-Лисе не нравилось это слово.

Потом наступила короткая пауза. И тут-то Юханнес и сказал это. Бросил прямо в мертвую тишину кухни:

— Хотя мне она сказала, что у нее будет ребенок.

На сей раз молчание длилось долго, как после звука трубы ангела. Мама, окаменев, уставилась сперва на Юханнеса, потом на Эву-Лису. Ребенок. Стало быть, блуд. И Эва-Лиса ничего не добавила о вранье или обльжных обвинениях. И тогда мама заплакала.

Как он мог это сказать? Как он мог. Как мог.

Эва-Лиса сидела с таким же странным видом, какой у нее бывал, когда она теряла дар речи или ее душило отчаяние, может, она не слышала, что он сказал? Но нет. Кухня в зеленом доме была большая, как все крестьянские кухни, но не чересчур большая. Нормальная кухня, необычным был только цвет дома. А он произнес это совершенно отчетливо.

Эва-Лиса повернулась к нему, после того как протрубила труба, точно слишком поздно прося помощи или пощады или как будто она не совсем правильно поняла.

Но он уже все сказал.

Какой толк в том, что она посмотрела на него. У нее были такие ласковые карие глаза, она — его старшая сестричка и играла с ним. И я уверен, что он ее ужасно любил. И все-таки сказал.

Если бы он откусил себе язык и швырнул его в угол, как шмат мяса. Если бы он взял нож и отрезал себе этот несчастный язык.

Если бы он не говорил этого.

Я думаю, Юханнес страшно ее любил и ревновал или возненавидел за то, что она его покинула. Или что-то в этом роде.

Всегда ведь стараешься что-то придумать, когда уже слишком поздно. И это уже сказано.

Но он не отрезал себе язык. И язык его соблазнил.

И он сказал это.

Наверно, сделал это от любви. Только так я могу это объяснить. И Юсефина заплакала.

Никто не помнит, чтобы она когда-нибудь плакала.

Кроме того раза в автобусе, когда ее высадили у строгальни и шофер, его звали Марклин, обернулся и спросил, не сжалится ли кто-нибудь над женщиной. Хотя она этого не захотела.

А так — ни-ни.

О чем она думала, неизвестно. Может, вообще ни о чем. Скорее, у нее все свелось воедино. А чтобы свести воедино, не всегда надо думать. Только знать, как было дело. Для этого думать не надо.

Она, наверно, свела воедино папу, который умер, несмотря на молодость, и как она возвращалась домой на автобусе и Марклин обернулся и сказал, что надо бы сжалиться, хотя она не хотела. И наверняка ей было стыдно, что она так разнюнилась в автобусе. И глубокий снег, по которому она шла к зеленому дому в ту ночь. И погруженный в темноту дом. Он тоже имел к этому отношение, недавно построенный, с рябиной, деревом счастья, посаженным только-только под пожарной лесенкой, которую папа приладил на всякий случай. И своего первенца, двое суток пролежавшего в утробе в не-

правильном положении, в то время как она кричала точно ненормальная, а у акушерки была работа в Лонгвике-не, и она не пришла. А домой вернулась как выжатый лимон (потом рассказала она). И в конце концов время было упущено; но трупик нарекли тем же самым именем, которым позднее нарекли меня (стало быть, я пронес через всю жизнь имя трупа).

Они сфотографировали его в гробу, похожего на огрызок яблока; собственно, в каком-то отношении там лежал я, но он умер, а меня она потом оттолкнула. Как трехногого теленка.

Это она тоже свела воедино.

Я не пытаюсь обелить ее. Я говорю лишь, что так она сводила воедино, потому что так люди и сводят воедино. И как нас с Юханнесом обменяли, тоже вошло сюда. И что ей было стыдно передо мной, что она не захотела оставить меня, негодного мальчишку, у себя. Поэтому она добавила и то, что, хоть Юханнес и был таким пригожим, после обмена вышло не совсем так, как она себе представляла. Она изо всех сил, наверно, старалась представить себе, как будет счастлива возвращением блудного сына, потерянного, но вновь обретенного, ибо так написано в Библии. И он ведь ее единственное настоящее дитя.

Но вышло не совсем так, что ни говори.

Иногда мне кажется, что втайне она любила меня, хоть я и не был таким пригожим и всеобщим любимчиком, как Юханнес. Почему, собственно, надо обязательно быть пригожим и любимчиком. Я все-таки, как она, верно, считала, каким-то образом залез в рану на боку Сына Человеческого. И каждый раз, когда она хотела спрятаться там, в горе по всему утраченному, натыкалась на меня.

Поэтому-то, пожалуй, лицо у нее и делалось как печеное яблоко, когда она потом видела меня.

Сейчас мне кажется, что именно так она думала. Но спросить в тот раз я не мог.

Вот так у нее все свелось воедино. Именно воедино, в одну секунду, в ту страшную секунду, когда Юханнес

сказал, что Эва-Лиса, по ее собственным словам, ждет ребенка.

Человек оледеневает. Она оледенела. Но почему — это, пожалуй, неизвестно.

До чего ужасно было видеть ее плачущей.

Для тех, у кого глаза все время на мокром месте, в этом нет ничего противоестественного. Но не для нее.

В нашей деревне не слишком-то часто распускали нюни. Так уж получилось, что это не было обычным делом. Поэтому-то и любили слушать о слезах и крови Жениха в моельном доме.

Может, лучше было бы наоборот. Я хочу сказать — если бы Иисус терпел, сжав зубы, а деревенские лили слезы.

Кончив плакать и вновь, как обычно, сжав зубы, Юсефина приказала им встать на колени перед диваном.

Юханнес справа от нее, Эва-Лиса — слева.

После чего она повела их в молитву.

Именно так он позднее напишет об этом в библиотеке. Только сам тон — фальшивый, это я заметил сейчас, достав сегодня ночью его речь в свою защиту. Вроде бы все правда, а тон неверный. И грех не тот. Поэтому — ложь. Налет иронии в изложении, чтобы прикрыть предательство, точно запеченные в тесто кусочки жареной свинины. «Да, она и в самом деле плакала; и не какими-нибудь крокодиловыми, а настоящими слезами горя, или волнения, или возмущения. И ее слезы как-то по-особенному разволновали меня, как будто мне хотелось утешить ее в ее горе и в то же время глухо выкрикнуть свой протест против слез, и молитв, и псалмопения, и тишины в кухне. Слезы текли по ее щекам, а она продолжала молиться, все исступленнее, словно яростно пыталась уверить Всемогущего Господа, что мы никогда, в этом зеленом доме, никогда, ни единого раза не воровали, не присваивали себе чужой собственности, ни монетки ни у кого не стащили. Господи Иисусе, продолжила Юсефина после короткой передышки, Ты, который зришь на всех нас в Твоей великой милости, зришь на тех, кто чахнет в этом мире греха и прозябает в нищете,

возьми эту девицу Ээву-Лису за руку и укажи ей дорогу, чтоб не стала она как эти босяки, что бродят по дорогам, таща за собой скарб свой, и живут в грехе. Ты знаешь, милый Иисус, что семя греха посеяно в ее сердце, и не позволяй, чтоб зараза греха от Ээвы-Лисы перешла на невинных детей. Да, она плакала, отчасти горюя из-за Ээвы-Лисы и ее воровских замашек, отчасти из-за беспокорства и страха, что семя греха с этого молодого, но уже испорченного колоса ветром занесет в ее собственное дитя и укоренит в его душе зло. И потому она встала: и еще, Господи Иисусе, Ты, Спаситель всех людей, помоги мне, чтобы зараза греха не тронула Юханнеса, миленький Иисус, ты такой добрый, ты ведь сделаешь так, чтобы он не стал таким, как Ээва-Лиса. Во имя крови, аминь».

Но дело-то было не так. Не двадцать пять эре украли Ээва-Лиса. Она вообще ничего не украли. Она ждала ребенка. И той ночью Юханнес ее предал. И мама плакала. Но не так.

Не так дело было. Она молилась, это правда. И пела псалом «Я гость здесь, я чужой», может, от отчаяния.

Но предал Ээву-Лису он.

Она молилась, это правда.

Крепко зажмурив глаза, точно ей хотелось, чтобы мрак под веками уплотнился, сгустился и взорвал бы их изнутри. От луча милости сквозь мрак. Могло ли сквозь этот невероятный мрак, который, не исключено, был хуже того, что она испытала, сделав первый шаг в головокружительное одиночество той ночью, когда автобус остановился у строгальни и шофер, его звали Марклин, спросил, не сжалится ли кто над ней, — могло ли сквозь него проникнуть отпущение грехов от Сына Человеческого?

Освободить ее от того, что она свела воедино и что теперь окончательно связалось с ребенком, созревающим сейчас, как она с ужасом осознала, в чреве Ээвы-Лисы, ребенком, который соединится с тремя детьми, утраченными ею самой, и станет их братом или сестрой.

Первый — мертворожденный, крещеный, но никогда не живший. Второй — Юханнес, окрещенный именем,

которое не она выбирала, но которое должно было быть моим. И я, названный именем мертворожденного. Трое несчастных детей, а теперь и четвертый.

Еще один ребенок в ряду утраченных.

Ночью он прокрался в кладовку и откусил щипцами кусок сахара. Потом подошел к кухонному диванчику, где спала Эва-Лиса.

Светила луна. Снег перестал. Снежный свет, как днем. Она не спала.

Черные глаза. Неотрывно смотрят на него. Дыхания почти не слышно, как будто она спит, но глаза открыты. И тогда он протянул к ней руку с зажатым в ней куском сахара. Он долго ждал. Губы у нее были сухие, чуточку искусанные. Он надеялся, что ее губы в конце концов раздвинутся, почти незаметно, и кончиком языка она дотронется, осторожно, до белого излома сахара.

Но она не дотронулась.

Думаю, он стоял в эту ночь у окна спальни, глядя на долину.

Лунный свет, ослепительно белый, долина, укутанная снегом. Мертвая тишина, не поет небесная арфа. Перед окном рябина, дерево счастья, в снегу и ягодах, но птиц нет.

3

Наступило Рождество.

Они не давали о себе знать. Она не приходила.

В час ночи с 4 на 5 января в окно кухни Свена Хедмана постучали; я спал прямо под окном и тотчас проснулся, хотя стучали несильно.

Сперва я ничего не понял. Потом стук повторился, и я встал и выглянул.

Стояла зима, невероятный снегопад сменился лунным светом. Градусов пятнадцать мороза, и лунный свет. Свен Хедман спал один в горенке. Я слышал, что он спит.

Я выглянул в окно. Это была Эва-Лиса. В овчинной

шубе, но без шапки. Я приоткрыл дверь в сени и спросил, в чем дело. Она протиснулась внутрь, не вымолвив ни словечка, и уселась на пол в холодных сенях. Я закрыл входную дверь, и дверь в кухню тоже прикрыл. Сидя на полу, она глядела на меня широко открытыми глазами.

Она занесла в сени немного снега.

— Что-то не то, — сказала она. — У меня болит живот.

Я проскользнул в дом, нацепил валенки и Свену куртку. Из глубины комнаты доносился его тяжелый храп. Я заметил, что Эва-Лиса без варежек, и прихватил с собой пару рукавиц, таких, с вывязанным указательным пальцем. Она сидела, закрыв глаза, ее мучили боли.

Что же мне делать?

— Помоги мне, — прошептала она. — Дома боюсь.

Она пришла ко мне, не к Юханнесу. Меня просила о помощи.

Капитан Немо подготовил меня, в одну из предыдущих ночей, рассказав притчу о самом последнем ребенке.

Ребенок остался один на всем белом свете. Всех его родных и всех его друзей забрали. Снег шел целую вечность и укрыл все вокруг своим белым одеялом. На земле, кроме этого ребенка, не осталось ни единого человека. Альфильд Хедман умерла, Свен Хедман умер, автобус с Марклином за рулем остановился навечно, почта не приходила, зеленый дом опустел. Все исчезли. На всем свете остался всего один ребенок. Это был я. Я был самым последним.

И тут в окно к самому последнему ребенку постучали.

У нее изо рта шел пар, она пришла без шапки и без варежек, и я прихватил с гвоздя меховую шапку Свена Хедмана и надел ей на голову. Тебе сейчас нельзя простужаться, прошептал я.

Мы были в холодных сенях. И шептались.

Когда ее прихватывало, она замолкала, а когда боль

отпускала, начинала шептать, хотя я знаками велел ей молчать.

Вышло не совсем так, как я себе представлял: что она придет ко мне домой, и глаза у нее будут ласковые, и она пожалуется на какие-то неприятности, над которыми мне придется поломать голову, чтобы найти решение. Я ведь мысленно уже составил четкий план. Она бы села на диван, и я бы угостил ее квасом и булкой и куском сахара, который я бы заранее отколол. И я бы тоже, совсем естественно, уселся рядом с ней, и для начала в утешение погладил бы ее по рукаву из ткани в тюльпанах, и завел бы негромкую беседу, как и пристало благодетелю. Я бы объяснил ей, что происходит. Ну, вроде как бы свел все воедино. И она бы внимательно меня слушала и время от времени кивала головой, так, чтобы черная прядка иногда падала ей на лоб, а она бы задумчиво ее поправляла. И ее маленькая кошачья головка была бы чуточку повернута ко мне, а взгляд устремлен на корзину с дровами. И время от времени она бы что-нибудь говорила. А я бы по-дружески, чуть ли не шутиливо, отвечал, потом бы наступила короткая задумчивая пауза, после которой она бы что-нибудь еще сказала, вроде бы с легкой улыбкой. А я бы кивнул и подумал, потому что сказанное ею звучало бы вполне разумно, но не бесспорно, и я бы ответил что-нибудь, остроумное и приятное. И она бы взглянула на меня и рассмеялась.

И так бы мы сидели и говорили, говорили. Помому, вот так я и представлял себе любовь.

Но поскольку у нее были такие сильные боли, что она чуть ли не стонала, сидя на полу в меховой шапке Свена Хедмана на голове, получилось совсем не так.

Время от времени по телу Ээвы-Лисы пробегала дрожь, она открывала рот, но не кричала.

В паузах между схватками она лихорадочно шептала. Рассказывала, как было на Рождество. Невесело. И совсем тихо. Накануне Сочельника что-то произошло, и потом все затихло. Она, кажется, ни одного слова не произнесла за целый месяц. Двое других тоже.

Юханнес в основном сидел наверху, в спальне, хотя было жутко холодно. Он сказал, что хочет почитать

«Библию для детей», но об этом думай как знаешь. Наверно, просто сидел и смотрел, как падает снег. Эва-Лиса наверх не поднималась. Не желала говорить с ним. Я спросил, почему она тогда говорит со мной. А она ответила, что это из-за тюльпанов. Я ведь в общем-то так и думал, но на этот раз даже не обрадовался.

Но она сказала это. Было бы здорово, если бы я смог сказать что-нибудь шутливое, но мне ничего в голову не пришло. И тут она начала тихонько повизгивать, прямо как поросенок. И я ничего не сказал.

В этот момент мы услышали, что Свен Хедман проснулся.

Он уже не храпел. Он двигался там, в доме, я услышал, как он, кряхтя, слез с кровати и открыл дверь горенки. Потом все смолкло. Эва-Лиса тихонько повизгивала, и я зажал ей рукой рот. Она подняла на меня глаза, но продолжала поскуливать, хоть и потише, несмотря на то что я зажимал ей рот; тогда я прижал посильнее, и она замолчала.

Я слышал, как Свен ощупью прошел в кухню, было темно, хотя лунная дорожка вела прямо к отхожему ведрю. Может, не посмотрит на кухонный диван. Если посмотрит, все погубло.

Потом мы услышали, как он мочится в ведро.

Эва-Лиса смотрела на меня, но молчала. Нет, не так я представлял себе любовь.

Он мочился долго, правда понемножку, и что-то бормотал. Потом вздохнул и пошел обратно, закрыв за собой дверь. Свет он так и не зажег.

Позднее я думал, что, если бы обратился к нему за помощью, все бы получилось по-другому. Но я этого не сделал. Дело в том, что в ту ночь я был один на целом свете, всех остальных забрали, Свена Хедмана тоже, звуки наводили лишь на ложный след. Вокруг ни единого человека. Только я один, и не было никаких благодетелей, лишь я сам.

И тут в окно постучали, как тому и следовало быть, это была Эва-Лиса. А тех, кого нет, не попросишь ведь о помощи, коли ты последний ребенок на белом свете и Эва-Лиса стучит в окно.

Все еще зажимая ей рот рукой, я сказал:

— Если ты будешь так продолжать, нам придется пойти в дровяной сарай, а то он нас услышит.

Она кивнула, и я отнял руку от ее рта. Она чуть при-встала и начала хныкать, правда довольно тихо. А потом перестала.

Мы осторожно открыли входную дверь.

Я шел впереди. Губами я лизнул ладонь, которой за-жимал ей рот. Она была еще влажная. Никакого особен-ного вкуса я не почувствовал.

Но мне кажется, это было как если бы я поцеловал ее, вот здорово, наверно, было бы.

4

Многие годы я больше всего думал про то, что Юханнес ее предал.

Странно. Ничего страшного в этом, пожалуй, нет. Хотя, думая про это, я успокаивался. Тогда ведь можно выкинуть из головы то, другое.

Палачи, жертвы и предатели. Просто цепляешься за то, что причиняет меньше боли. Что же это за жизнь.

Дорожка к дровяному сараю была не расчищена. Мне в валенки набился снег, но я вроде как бы пропа-хивал для нее дорогу.

У нас со Свеном Хедманом никогда не водилось слишком много дров, так что я знал, что в сарае места довольно, во всяком случае вокруг колоды. Крюк на две-ри примерз, но руки у меня были без рукавиц, поэтому мне удалось его откинуть. Она плакала теперь сильнее.

Взяв Эву-Лису за руку, я посадил ее на колоду. Вы-глядела она чудно в овчинной шубе, рукавицах с указа-тельным пальцем, оставшихся с Зимней войны, и мехо-вой шапке Свена Хедмана, надвинутой на лоб. Над дверью сарая, которую я закрыл, было окошко, разде-ленное на четыре квадрата, но луна светила так ярко, что в сарае было светло почти как днем, несмотря на ночное время, хотя свет был синее, чем если бы ты сто-ял на снегу снаружи.

У нее почти сразу же опять начались боли, и она не захотела сидеть на колоде, а легла на пол. Стружка вся смерзлась. Утром я колол дрова, так что теперь сунул ей под голову чурбачок, березовый, березу легко колоть, когда она холодная. Чурбачок, конечно, твердоват, но благодаря меховой шапке Свена Хедмана лежать на нем было все-таки мягко.

Эва-Лиса плакала не переставая, я ничего не мог поделывать. Она боится, что умрет, сказала она, но я заверил ее, что этого не случится.

Я часто представлял себе, как могло бы сложиться у нас с Эвой-Лисой. Я частенько размышлял об этом, и все получалось.

Пусть она на шесть лет старше, это не помеха. Биргер Хэгмарк ведь женился на женщине старше себя, намного старше, двадцать два года разницы, но старуха его была вроде кроткого нрава, и он лил слезы на похоронах, хотя детей у них так и не было. И это вполне естественно. Наверно, ежели что-то втемяшится человеку в голову, как Эва-Лиса втемяшилась мне, так остальное уже неважно.

У нас будет так, как было, когда я сидел рядом с ней и она учила меня вязать. И я буду говорить разные вещи, не только о тюльпанах, — но так, как о тюльпанах. И она скажет, что мы словно брат и сестра, но мы будем гораздо больше чем брат и сестра, а шесть лет значения не имеют. Она никогда ничего не будет скрывать от меня, а я никогда не буду ее бояться.

Мало что исполнилось из всего этого. Совсем чуть-чуть. Мы никогда не боялись друг друга. Но осталось лишь одно — немного слюны на моей ладони, которой я зажимал ей рот, когда она мучилась от боли. Слюна почти замерзла по дороге к сараю.

Ручка двери в сарай промерзла.

Ни в коем случае, учили нас, нельзя трогать промерзшую ручку двери языком. Иначе случится то, что случилось с Ёраном Сундбергом из Иннервика, до сих пор заметно. Он получил хороший урок, говорили в деревне.

Получить урок — это наказание. Можно чуть ли не

онеметь. Дотронуться кончиком языка до ледяного железа означало показать свою гордыню.

Хотя Альфильд пела в молельном доме, несмотря на свою немоту.

Луна снаружи светила ярко до гула.

Свет бил в окошко, на полу обозначились квадраты. Четыре квадрата двигались к Ээве-Лисе. Через час после того, как она впервые затихла, они почти добрались до нее. Она продолжала лежать и не желала садиться на колоду, а когда я попытался поднять ее, начала отбрыкиваться. Потом лунный свет добрался до нее. И тогда она сказала, что у нее кровотечение.

По ногам текло, я видел это. Овчинной шубе конец, это ясно, но, как ни странно, мне было плевать. И я ничего ей об этом не сказал.

Она объяснила, что мне надо сделать.

Я вышел и пошел к нужнику, грубо сколоченному сооружению, стоявшему на отшибе, за газетами. За «Норран». Когда я вернулся, оставив дверь приоткрытой, она сидела, прислонившись спиной к колоде, зажав руку между ног. В самом верху. Вид у нее был испуганный. Можно понять. Ей же всего-то шестнадцать. Я вырвал несколько страниц из «Норран» и скомкал их, не заботясь даже о том, чтобы сохранить страницу с Карлом Альфредом, настолько я перепугался тогда, понятное дело. Она попыталась засунуть комки бумаги между ног, но у нее не хватило сил, и она беспомощно откинулась назад, чуть не опрокинув колоду.

И, лежа так, велела мне сделать это, сказала, что я должен.

Сперва я не хотел. Но я должен, сказала она.

Я пытался вытереть кровь с панталон, но Ээва-Лиса хныкала и вскрикивала, а я робел, и она сказала, чтобы я плюнул на это, я должен остановить кровь. Засунуть бумажные комки в панталоны. А я все вытирал и вытирал и бросал окровавленные комки на поленницу, не заботясь о том, что дрова будут испорчены. Потом я сдался и сел спиной к стене, и в глазах у меня потемнело.

Тогда она сказала, чтобы я принес еще бумаги, иначе

она умрет, а она не хочет умирать, это она повторила несколько раз. Так что я принес еще бумаги.

Она оттянула резинку панталон. Шуба на ней распахнулась, юбка задралась, и я, зажмурившись, сунул большой ком бумаги ей между ног, но тела не коснулся. И тут она вроде как бы совсем выдохлась и просто лежала, не говоря ни слова, хотя я умолял ее что-нибудь сказать. Она еле дышала. Но, прислушавшись, я понял, что она все-таки дышит, хотя нужно было чуть не ухом прижаться, чтобы услышать.

Тут-то ей стало трудно удерживать пищу в желудке, и все полилось на овчинную шубу.

Меховая шапка Свена Хедмана скатилась у нее с головы. Я положил ее в сторонку, чтобы не запачкалась.

Кажется, прошло какое-то время. Совсем мало, но луна переместилась, судя по квадратам на полу. Окно ведь не в двери, поэтому, хотя дверь была приоткрыта, оконный проем с места не сдвинулся. Лунный свет перевалил через ее тело и теперь двигался к поленнице.

Она наскребла немножко снега, залетевшего внутрь, и утерлась им. Снег покраснел.

Снаружи поднялся ветер. Наверно, дело шло к рассвету, на улице потемнело, заметелило, снег заносило в полуоткрытую дверь. Дверь билась и хлопала, я пытался закрыть ее, но это оказалось трудно. Ладони у меня были вроде как бы влажные, и я чуть не примерз к холодному железу, но мне было плевать, хоть я и знал, что можно получить урок, коли примерзнешь и потом дернешься, чтобы освободиться, но сейчас об этом некогда было думать. В доме темно. Свен Хедман еще спит. Только бы он не встал помочиться, мелькнуло у меня, а то взглянет ненароком на кухонный диван и увидит, что меня там нет. Свен вставал мочиться каждую ночь, по нескольку раз. Я был совсем один с Эввой-Лисой, и в общем-то это капитан Немо виноват, что я не позвал на помощь, потому что он рассказал притчу о ребенке, который был один-одинешенек на всем белом свете, когда постучали в окно. Так что я не мог никого попросить о помощи и поддержке, и все равно я боялся, что Свен встанет помочиться и увидит, что меня нет в постели.

И тогда...

Я хочу сказать, что тогда ведь он зажжет лампу. И увидит. И следы к дровяному сараю увидит.

Что нам тогда делать? В этом случае мы окажемся в безвыходном положении.

Я перестал думать «я», теперь я думал «мы». Хотя это не то теплое и веселое «мы», о котором я мечтал. Прежде только я был в безвыходном положении, теперь мы, но это «мы» неправильное. Что-то все же произошло, это я чувствовал.

Эва-Лиса села и, расстегнув панталоны, заглянула внутрь.

Вид у нее был ужасный.

Она начала говорить, но так, словно слегка чокнулась. Болтала что-то бессмысленное. О своей маме, не о той, что в зеленом доме, которую ей было велено — уже на второй день — звать мамой, а о своей собственной маме. О которой она при мне прежде никогда не упоминала. Что-то такое, что, мол, мама согрешила, потому как играла на пианино, но к тому же она была шлюхой, и теперь вот это — зараза греха, в третьем или четвертом поколении, и маму вынудили уехать в Южную Америку, где она заболела Паркинсоновой болезнью и ее лежачую съели крысы. Бред какой-то. Большая часть того, о чем она рассказывала, ей, похоже, просто приснилась. Хотя снились ей кошмары. Но все-таки, судя по ее бредням о маме, она вроде бы ее любила, хоть никогда и не видела. Попадая в трудное положение, люди обычно начинают любить своих пап и мам, пусть они их никогда и не видели, так что я ее понимал и не обращал особого внимания на ее лепет. Но потом она сказала, что согрешила и теперь Бог ее наказывает, настав ей в живот рыбу, и рыба ее кусает. Ей отказано в праве иметь настоящего ребенка, потому что она блудила. И рыба ее кусает, и надо эту чертову рыбу размозжить о борт лодки. Она столько болтала об этой рыбе, что у меня ум за разум зашел. Но потом она опять обессилела и растянулась плашмя, уткнувшись лицом прямо в окровавленные опилки возле колоды, и мне пришлось чуть не броситься на нее, чтобы она чего себе не повредила. И положить ее как надо, на спину.

Я прижал ладонь к ее щеке, и тогда она чуточку успокоилась.

— Рыба приплыла, — сказала она внезапно. — Она кусается.

И я понял.

Я же был не ребенок. Я хочу сказать — вообще-то, конечно, ребенок. Но я видел, как телятся коровы и поросятся свиньи, и водил коров к случнику, и при забое скота присутствовал. Так уж складывается, коли живешь в деревне. Ты тогда вроде бы уже и не совсем ребенок.

Крови я насмотрелся, и околоплодных пузырей тоже, все дети, выросшие как я, этого насмотрелись. Это было естественно, ничего достойного внимания.

Но такого я не видел никогда. А тут вдобавок передо мной лежала Эва-Лиса.

Я, конечно, сразу сообразил, что добром дело не кончится. Она ведь не доносила. Почему мне знать — может, она была на седьмом месяце. Но ведь здесь речь шла не о каком-то там теленке, а о ребенке Эвы-Лисы, а ее я любил так сильно, что это был почти смертный грех, и теперь вот она умирала у меня на руках. И никто не должен ничего знать. Это она твердила все время. То и дело повторяла, хоть говорила неразборчиво. И мне пришлось поклясться перед Богом Всемогущим; сперва я воспротивился, но она заупрямилась, и я поклялся, поклялся не звать Свена Хедмана из его комнатки.

Панталоны превратились в тряпку.

Я вышел, чтобы взять еще пару номеров «Норран», потому что все остальные газеты были уже использованы. Обычно говорят, что надо вскипятить воды, когда дети появляются на свет. Но воды не было. Снег ведь тоже вода, подумал я.

Но как я сумею убрать всю эту кровь и мусор до утра, когда Свен Хедман перестанет храпеть и встанет, чтобы выпить кофе и пожевать табачку.

И нельзя, чтобы она умерла у меня на руках.

Я подумал: ежели она умрет сегодня ночью у меня на руках, я умру вместе с ней. Это решено. Она не должна покинуть меня. Юханнес предал ее, но я рядом, и покинуть меня она не имеет права. Это решено.

Он был мертвый, когда родился. Это совершенно точно. Иначе она, наверно, в своем бредовом состоянии попросила бы меня избавить его от мучений. Но он был совсем-совсем мертвый. И склизкий, как рыба перед тем, как ее оглушают о борт лодки.

Но она не попросила. Заверяю это перед Богом, который трусливо прячется до Судного дня, когда он прочит нас, сквернавцев, и Сыном Человеческим, у которого всегда так много дел, когда в нем действительно есть нужда.

И потом я об этом много говорил с моим благодетелем, капитаном Немо, который был с нами в беде и будет всегда, до скончания времен.

Что-то произошло в зеленом доме за день до Сочельника.

Юсефина стояла на верху лестницы, а Эва-Лиса — посередине. И Юханнес в самом низу. И она начала совершенно спокойно, сказав, что устроила так, чтобы Эва-Лиса переехала к Эрику Эбергу, двоюродному брату зубного врача Эберга, и точка. Но постепенно она распалилась и стала кричать, что она простила блуд в своем доме, перед Богом Всемогушим простила блуд, хоть и с большим трудом, но это молчание Эвы-Лисы вынести нельзя. И ненависть. Она может простить блуд, но не ненависть, с ней никто не желает говорить, а она ведь как-никак мать, и потом она сказала что-то об Эве-Лисе и Юханнесе, что было ложью и только доказывало, насколько она не в себе.

И Юханнес стоял в самом низу. Но запомнилось ему одно-единственное, не главное, не враки о нем и Эве-Лисе. Нет, ему запомнилось из всего этого лишь то, что теперь у него отнимут Эву-Лису и что он предатель.

Ни словечка не сумел он вымолвить, хотя с языком у него все было в порядке. А Юсефина разорялась вовсю и редела, что только усугубило дело. И никто ее не пожалел.

Потому-то Рождество и получилось молчаливым.

Она, пожалуй, не верила, что Эва-Лиса беременна. Лишь так я могу это свести воедино. Иначе она бы так не поступила.

Я в этом уверен. Все остальное, о чем она кричала, было совершенно естественными враками, которые я никогда не перескажу, Юханнес тоже, даже в форме притчи.

Ничего не оставалось, как стащить с нее окровавленные панталоны и помочь.

Ребенок вышел из нее, правда крохотный. И мертвый, клянусь.

Мне уже ни до чего больше не было дела. Взяв младенчика на руки, я принялся его рассматривать. Он был пригожий, ну как Эва-Лиса примерно, хотя весь в слизи и мертвый. Мертвый мальчик. Меня охватила какая-то торжественность. Наверно, так и бывает, когда все кончено.

Эва-Лиса бредила, ей было совсем плохо, но она упрямо молила меня спрятать младенца в глубине озера. И это я тоже обещал сделать. Завернув ребеночка в пару номеров «Норран», я по снежной целине отправился к озеру.

В одиннадцать дня рассветет. Луна исчезла. Прежде чем уйти, я застегнул на ней овчинную шубу и на секунду прижал ладонь к ее щеке. Снаружи так стемнело, что, верно, уже наступило утро.

4. В пучине озера

Свет луны, сверкает снег,
Бог печется о детишках всех.
Может, рыбок тоже приголубит,
милость Божья да пребудет.

1

Идти по снежной целине было тяжело. У Нурдмарков горел свет, а так деревня погружена в темноту. Сперва с пакета капало, потом перестало.

Мело. Утопая в снегу, я спускался к озеру со своим братиком, завернутым в «Норран».

Когда что-то случается, а ты еще не понял, что ничего непоправимого на свете не бывает, ты словно оглу-

шен. Ничего не слышишь, и тогда кажется, что все кругом молчат. И тебе остается лишь полагаться на свои глухие уши. И ты совсем одинок, сколько бы кричащих голосов ни окружало того, кто попал в беду.

Совсем тихо. И что же тут услышишь.

Но всегда есть что-то лучшее, чем смерть.

Озеро было довольно длинное: оно суживалось в середине, потом опять расширялось, и в самом дальнем его конце, так далеко, что почти и не видать, находились болото и Русский остров.

Лед был толстый, но в том месте, где в озеро впадала река, течение не давало воде замерзнуть. Здесь зимой всегда открытая вода.

По краям лед был желтого цвета, и у открытой воды воняло тухлыми яйцами. Течение очень быстрое.

Я сильно устал и сопел, как старая кляча, когда пришел на место, хотя ноша у меня была легкая, ничего тащить не пришлось. Я взял себя в руки и перестал хлюпать носом. Лед по краям слабый, нам не разрешали подходить слишком близко, и Эва-Лиса ждала меня в дровяном сарае, так что важно было не свалиться в воду.

Я пока не имею права утонуть.

Осторожно сделал я последние шаги и осмотрелся.

Кругом темень, ни луны, ни звезд, хотя снег слабо светился. Звездная песнь замолкла для меня навсегда, впереди — пучина озера. Я развернул сверток и взглянул на его содержимое. Это был мальчик.

Веселого мало.

Я перевел взгляд на деревню, чтобы взбодриться, желудок едва удерживал пищу, еще немного — и меня вырвет, совсем как Эву-Лису недавно, когда все оказалось на шубе, но вскоре я вновь смог посмотреть на полынью.

Надо успокоиться. Не глядя, я опять завернул сверток, так будет лучше. Теперь оставалось бросить.

И я бросил. Интересно, как бы его назвали.

Сверток какое-то время покачался, с минуту может. Потом начал медленно тонуть. Бумага развернулась и всплыла, течением ее отнесло к дальнему краю полыни. Там она и застряла.

Мальчик больше не показывался.

Я не знал, что делать. Ежели кто-нибудь сюда заявится, наверняка заинтересуется, как это «Норран» попала в воду. Да еще вся запачканная кровью. Но кто сюда придет.

Подойти поближе и схватить газеты я не могу, а то свалюсь, чего доброго. А ведь Эва-Лиса ждет меня, мне никак нельзя утонуть.

Мальчик ушел под воду. Его, конечно, подхватило течением, и он медленно плыл подо льдом, может, к Русскому острову, где захоронены русские и полно змей. Может, его отнесет к Мелаон, где Альфильд Хедман однажды превратилась в лошадь, хотя потом и умерла.

Глаза у него были широко раскрыты, когда он лежал в «Норран». Теперь он плыл подо льдом, медленно и задумчиво, с широко раскрытыми глазами, подумал я. Со всем медленно.

Интересно, что он видел.

Может, Сын Человеческий смилостивится над ним. Он же друг детей, пусть на меня у него времени и не хватало. Оставалось только надеяться, что он смилостивится и над Эвой-Лисой, и надо мной, хотя мы и живые.

А потом я пошел обратно.

2

Свен Хедман увидел меня из окна кухни и, выйдя на крыльцо, спросил, в чем дело.

Я не ответил, а направился напрямиком в дровяной сарай.

Эва-Лиса по-прежнему сидела, прислонившись к деревянной колоде, так, как я ее оставил. Глаза ее были широко раскрыты, но смотрела она не на меня. Я подошел к ней и прикоснулся к ее щеке. Лицо покрыто испариной, но холодное, как лед.

— Эва-Лиса, — сказал я. — Я здесь. Миленькая, пожалуйста, Свен Хедман с крыльца зовет меня. Он сейчас придет, уже утро, Эва-Лиса.

Она лишь смотрела прямо перед собой.

Все так много болтают о чудесах, но почти никто в них не верит. Считается, что просто так оно говорится. Но это не просто так говорится, это так и *есть*. И когда думаешь, что хуже не бывает, оказывается, что ничего непоправимого по-настоящему нет.

А поскольку это так, чудеса существуют. Это надо понимать, хотя мне потребовалось немало времени, чтобы это уразуметь. Собственно, вся жизнь.

Я прижал ладонь к ее щеке, а потом убрал. И тогда Эва-Лиса сказала:

Не убирай руку.

И я опять прижал ладонь к ее щеке.

Она заговорила: Я знаю, ты сделал, как я тебя просила, спасибо большое тебе за это. Но теперь мне нужно кое-что тебе сказать. — Откуда ты знаешь, что я сделал, как ты просила? — робко прошептал я.

Знаю, ответила она. Знаю, что тебе страшно, но больше бояться не надо, потому что я уже не боюсь. С этим покончено. Но сейчас ты должен довериться мне. Поверить во все, что я скажу, иначе и тебе и мне будет худо. — Во что мне надо верить, что ты мне скажешь, Эва-Лиса? — спросил я. Я на время уйду, сказала она, но это не страшно, потому что я к тебе вернусь, я ворочусь назад. — Что ты такое говоришь? — сказал я. Я не покину тебя, ответила она. Я должна ненадолго умереть, но это будет не так, как они все думают, потому что я вернусь. — Ты меня покинешь, выдавил я. Нет, сказала она. И я ворочусь не на небе, а здесь, на земле. Не убирай руку.

Испарины уже не чувствовалось. Щека была холодная. Я прижимал руку к ее щеке.

Ты думаешь, сказала она, что все худшее уже произошло. Но все впереди, самое важное. То, что случится сейчас, — это самое худшее и самое лучшее, не убирай руку, и теперь ты должен внимательно выслушать, что я скажу. Я ненадолго умру, но я тебя не покину, я буду рядом с тобой в этой земной жизни. Не думай, будто я говорю о небесах. Я вернусь сюда. — Чё ты мелешь, сказал я, этого не может быть, невозможно. — Не убирай руку, сейчас я открою тебе тайну, сказала она. Какую

еще тайну? — спросил я. Я умерла, но скоро воскресну, и воскресну в этой земной жизни. — Чё ты мелешь, снова произнес я, распуская нюни, это ведь невозможно. — Вот я и открыла тайну, сказала она, больше мне нечего сказать, потому что я рассказала все, как оно есть. А теперь иди и позови Свена Хедмана.

Она была такая пригожая. Но больше ничего не сказала. Сидела, прислонившись к колоде, и молчала, глядя своими карими глазами прямо перед собой. Что она там такое говорила? Как можно в это поверить? Но я подумал: придется поверить в ее обещание вернуться ко мне.

И я убрал руку. И пошел за Свеном Хедманом.

IV. ВОСКРЕСЕНИЕ

1. Таинственный остров

1

Сигналы и знаки неразборчивы.

Спящие птицы расположились на озере странными формированиями: легли на белое снежное покрывало, образовав знаки или буквы, словно хотели составить слова.

В первые дни после случившегося в деревянном сарае было всего очевиднее, что они ни на что не способны. Я наблюдал за ними, никому не говоря ни единого слова.

Они формировались в сигнал, но пока еще не могли.

Свен Хедман вычистил сарай. Меня отправили в больницу, но, поскольку я был здоров как бык, вернулся домой в тот же день. По большей части я сидел у кухонного окна и зорко наблюдал за знаками, ни единым словом или действием не раскрывая своим друзьям, что Благодетель намеревался, быть может, сигналом указать мне путь.

Они думали, будто похоронили Ээву-Лису на кладбище в Бурео в субботу 9 января 1945 года. Мое присутствие посчитали излишним. У могилы собралась горстка родных. Никто не убивался от горя.

Ее сводный брат из Финляндии позвонил, но не приехал.

Свен Хедман был на похоронах и, чтобы развлечь меня, рассказал, как все прошло. Очевидно, они посчитали, что Ээва-Лиса и вправду преставилась. Никому и в голову прийти не могло, что она воскреснет и вернется ко мне еще в земной жизни. Пока Свен Хедман расписывал мне все это за тарелкой с кашей — холодной кашей, вываленной на плоскую тарелку, с масляным колдцем в середине, которую мы ели ложками каждый со своей стороны стола, — и, показывая свое расположение, закончил есть свою долю, оставив мне ямку с маслом в середине, чтобы ублажить меня, я раздумывал, не

открыть ли ему нашу тайну, но потом решил, что это ни к чему, и промолчал.

Пастор, известный во всем приходе как человек, имевший торжественный вид, но не слишком смысленный, совершил похоронный обряд. Форсберг, который был проповедником при Правлении, но рыл могилы, чтобы содержать выводок из семи детей, а когда проповедовал по деревням, автобусом не пользовался, потому как им едва хватало на еду для несчастных деток с его-то никудышным заработком проповедника, — этот вот Форсберг вырыл могилу. Зимой приходилось долго долбить землю ломом. Тяжеленько было копать для этой горемыки из Шёна, сказал он на собрании в Вестре неделю спустя, прочитав молитву за упокой души горемыки из Шёна. Все поняли, что это притча, и Хильдур Эстман при этом всплакнула.

В Шёне Форсберг молитвы не читал, что всем показалось странным, но у него были свои идеи. Он окончил школу проповедников в Юханнелюнде, неподалеку от Стокгольма, и стокгольмский дух — это утверждали решительно — ему не повредил, но все же у него были свои идеи.

Пастор совершил похоронный обряд, но могилу рыл Форсберг.

В деревне пошли разговоры. Что вполне понятно.

Пытались, верно, вычислить. Кровь-то была. Мертвого младенчика не нашли, и о его существовании можно было лишь догадываться. Прокурор побывал на месте происшествия, но не захотел чересчур далеко идти по снежной целине, да и лед по краям был тонкий. Поэтому расследование прекратили.

То есть опомнились. Но о нашей тайне они не знали.

Я-то ведь ни слова не проронил о случившемся, потому что капитан Немо еще не указал мне путь, и по знакам я понял, что он пока не готов.

Свен Хедман сложил в кучу карты Швеции, которые Альфильд вычерчивала на вошеной бумаге, в нужнике, но ими не пользовались.

Я тщательно изучил эти карты. На первый взгляд они ни о чем не говорили, только неуклюжие внешние контуры, зато Хьогтбёле отмечен, чтобы она не волновалась.

Тут, однако, дело было в том, чтобы не дать сбить себя с толку. Влага повредила некоторые карты, и дырки от плесени вместе с пятнами на них складывались в определенный узор.

Капитан Немо, похоже, готовился послать мне сигнал, что я должен делать. Что-то происходило. Без всякого сомнения. Но поскольку карты частично были повреждены или же их требовалось рассматривать специальным образом, истолковать послание было нелегко.

Прошло какое-то время. Что мне делать?

Свен Хедман задавал много вопросов, но, поскольку я не знал ответа, я молчал. Мне же не указали путь. Однажды пришел пастор. Они старались два часа. Но эта рыбная ловля результатов не дала. Началось таяние, снег оседал, впитывался в землю. Я снова ходил в школу, потому что это считалось обязательным. О том, что случилось с Эввой-Лисой, не распространялись. О ней все говорили как о покойнице, и вроде бы я был в этом виноват: как-то раз за меня молились на собрании Союза молодежи. Нас еще раз навещил пастор, он держался торжественно и пожелал побеседовать со мной наедине, и говорил строго, словно бы хотел запугать меня. Чтобы скрыть, что я жду указания от капитана Немо, я рассказал ему несколько забавных историй про Фюртенбака. Пастор смотрел на меня так, точно он превратился в соляной столп, и спросил, почему я рассказываю об этом, а не об Эвве-Лисе. Я не ответил. Пастор уставился на меня как на чокнутого, а потом ушел. Больше он не приходил и с вопросами не приставал.

В Вальпургиеву ночь костры не жгли.

27 мая 1945 года я впервые пошел к молитве. Читал Форсберг. На меня глазели. Юсефина тоже была там со своим юным сыном.

Тогда-то наконец я и получил сигнал.

Мне явился капитан Немо, как раз когда я разглядывал Спасителя на картине в раме с зазубриной. Капитан

Немо спешил, он чуть ли не вспотел, это случилось, когда пели псалом «О глава окровавленная», но его сообщение нельзя было истолковать превратно.

Он сказал: Ты должен найти мертвого младенчика, чтобы с его помощью связаться с Эввой-Лисой, которая ждет воскресения. — Ты чё, чокнулся, сказал я со страхом, но так, чтоб никто ничего не слышал, как же я его найду? Он ответил: Позови на помощь Юханнеса. Ты должен найти остров с горой Франклина. Там кроется решение загадки. — А где этот остров? — спросил я растерянно.

Но он исчез.

Никто не заметил, что произошло, все как ни в чем не бывало продолжали петь. Я сидел совершенно невозмутимый и сбоку разглядывал Юханнеса. Неужели мне придется обращаться за помощью к этому Иуде.

Но тем не менее.

По дороге с молитвы я пристроился за Юханнесом. Подошел к нему и сказал: Нам надо найти таинственный остров, там ты узнаешь, что произошло.

Он посмотрел на меня как на чокнутого. Потом кивнул. И шепотом спросил: А где тот остров? — Должно быть, в озере, прошептал я. Я думаю, это Русский остров, но надо разведать. — А как мы разведаем? У нас ведь нет лодки.

Лодки у нас не было.

Я сказал: Построим.

И тут Юсефина резко дернула его за руку и увела от меня.

Вечером я тщательно изучил карты Альфильд. Пятна от плесени на вошеной бумаге напоминали птиц на желтом льду. Когда я наложил их друг на друга, возникла новая карта. Я знал, что близок к ответу.

Назавтра я сделал рукой знак Юханнесу, который стоял возле стойла Сельстедтов, по другую сторону долины. Вид у него был растерянный. Но он наверняка сообщил, потому что минуту спустя сделал ответный знак, который мне не составило труда понять.

Он означал: в кратере вулкана Франклина.

Через озеро протекала река.

Она впадала в озеро с северной стороны и вытекала с южной. Река брала свое начало далеко, в Лаппмаркене, и весной по ней сплавляли лес. Зрелище было захватывающее, и наблюдать его можно было с того места, которое называлось Шён, то есть просто «озеро».

В конце мая озеро постепенно наполнялось бревнами, кусками льда и плывущими льдинами. Бревна иногда прибывало к берегам, больше всего к северным, в районе Русского острова, но, случалось, и в устье. А потом, к Иванову дню, озеро очищалось.

Но не полностью. Оставались застрявшие бревна. Обычно это была самая лучшая древесина, легко державшаяся на воде. В топляках же скапливалось много влаги, бревна всасывали в себя воду и уходили на дно, как люди, объяснил проповедник Брюгтман на собрании Войска Надежды.

Часть бревен плыла к морю, часть застревала, а часть тонула.

Что станет с застрявшими бревнами — известно. Через неделю явятся сплавщики, шестью столкнут их с берега, собьют в кучу и отправят вслед за остальными. Сплавщики шли вдоль берегов на гребных лодках, они очищали берега за один день, и заторов как не бывало.

Застрявшие бревна назывались «последыши». И как только последыши убирали, озеро вновь было свободным.

У меня не было лодки. Но капитан Немо дал мне наставление и силы. Я должен построить лодку. Это будет плот. После чего Юханнес поможет мне искать. Он мерзкий Иуда и предатель. Но капитан Немо велел.

Так он мне велел во время пения псалма «О глава окровавленная». И я выполнил его приказ.

До того как убрали последыши, я спрятал три бревна.

В воскресенье, 3 июня, я отправился, за час до службы, в Мелаон. Я выбрал воскресенье, потому что хотел,

чтобы мне никто не мешал: все сидели в моленной комнате. Да и идти к молитве я считал ненужным.

Так уж получилось, поскольку Сын Человеческий сустился по другим делам, а на меня у него никогда времени не хватало. Когда человек в беде, Сын Человеческий должен приходить на помощь. Он должен быть благодетелем и заступником. Но как бы не так. Капитан Немо — тот мог. А Сын Человеческий — нет.

Найди, сказал капитан Немо, и поэтому я построил плот.

Прежде всего надо отыскать мертвого младенчика. Потом Эва-Лиса воскреснет в этой земной жизни. Младенчика наверняка отнесло подо льдом куда-нибудь, где он и застрял, как бревнышко. Сел на мель. Такова природа плывущих.

Последыши еще не убрали. Бревен сколько угодно. Вода стояла высоко, заполняя канавы.

Я трудился целый день. Вытащил три бревна и спрятал их в канаве, чтобы их не обнаружили и не сплывили вместе с другими последышами. Они были тяжеленные. Я помолился Иисусу Христу, но он никак себя не проявил, так что пришлось продолжать одному.

Я точно обезумел. Прошлогодней травы вокруг полно. Я прикрыл бревна. Теперь оставалось только ждать. Когда придет время строить лодку, я позову Юханнеса. Он не откажется, потому как капитан Немо постановил, что отныне мое желание — и его тоже.

Я сидел наверху, в лесу, в тот день, когда сплавляли последыши. Они ничего не заметили. Пришло время строить судно, которое воссоединит меня с Эвой-Лисой.

В детстве я часто размышлял, что за человек, собственно говоря, Юханнес.

Становишься в тупик. Определить, что ты за человек, и то нелегко. Каким ты должен быть — еще тяжелее. Когда я был маленьким, я хотел быть как Юханнес, но оставался самим собой. В этом-то и заключалась проблема.

Юханнес был скор на ногу и, ежели хотел, умел быстро говорить. Ему все легко удавалось, и в деревне его

все любили. В парусиновых туфлях он бегал быстрее всех. Если мы рыли пулеметный окоп в карьере, он никогда не боялся, что тот обвалится ему на голову. Когда кошка Эрикссонов прыгнула на рыболовный крючок, и крючок застрял у нее во рту, и она жутко кричала, Юханнес бросился к кошке и вытащил крючок. Все остальные, я особенно, только стояли и глазели. Однажды он заснул в молельном доме, и никто не возмутился. Когда в «Коппру» привезли пять кило бананов, он, хоть и не имел денег, купил три штуки, прежде чем кто-нибудь успел открыть рот, и заслужил похвалу Юсефины. Никому и в голову не могло прийти, что привезут бананы. А он быстро соображал.

Юханнес все делал как нужно. Я ни разу не обозвал его мерзким Иудой. Но после этой истории с Врагом и Эвой-Лисой он стал меня бояться. Ведь я единственный, кто знал, а к тому, кто знает, надо держаться поближе и не ссориться с ним.

Поэтому он послушался, когда я сказал ему о пещере Франклина. И вопросов не задавал. Но коли кого обменяли, как нас, у тех появляется что-то общее. Одного увели, другого привели. Но все равно обменяли. Это вроде как когда в глазах двоится.

Я велел ему. И он послушался, в тот июньский день, когда сплавляли последыши.

С каждым днем сигналы становились все яснее.

Я совсем перестал разговаривать, чтобы собраться с силами. Как-то я сидел, опустив ногу в ручей, наверх всплыла пиявка и уселась мне на ногу, но кровь сосать не стала. Просто села, таким движением, каким гладят лошадиную морду, на мою ногу.

Это было очевидно. Я смотрел на нее с утвердительно улыбкой. Она уплыла, без единого слова.

3

Мы спустили бревна в воду, самое длинное поместили в середину, два других по бокам, и скрепили их поперечным брусом. Впереди прибили гвоздями по-

перечную доску, посередине три доски, сзади еще три. Мы пользовались шестидюймовыми гвоздями, и только сзади — трехдюймовыми.

Я сказал, довольно громко:

— Когда плот нам больше будет не нужен, мы отдерем доски и вытащим гвозди. Если оставить гвозди, они могут испортить лезвие пилы, и работающие на сдельщине потеряют деньги. Нельзя забывать про сдельщину.

Юханнес не ответил, как будто и не слышал моих слов.

Я был доволен, что сказал это. Он бы, пожалуй, никогда не вспомнил про гвозди и пилу.

Я начал объяснять, потому что мне было приятно объяснять. Я объяснил, как важно, чтобы плот выдержал нас обоих. Я знал, что мой вес 52 кг. У него приблизительно такой же. Так что плот должен выдержать 100 кг, но дерево сухое и плавучее.

На это ему нечего было ответить.

Я подумал и об оснащении. Я взял у Свена Хедмана его коробку для бутербродов, там у нас хранился провиант. Он состоял из 1 бутылки воды, 1 куска колбасы (длиной в 1 дм), полбуханки хлеба, 8 морских сухарей, 1 ножа, 100 г маргарина, 20 кусков сахара, 1 маленькой банки мелассы (что-то вроде патоки, только более темного цвета, которой кормили коров, но которая по вкусу была ничуть не хуже, зато дешевле, по словам Свена Хедмана), 4 тонких лепешек. Таков был провиант. Я занес список в блокнот, в столбик, вроде как бы составил опись спасенного имущества.

Я все устроил сам. Юханнес не делал ничего. Поэтому-то он, верно, и был такой молчаливый.

Мы вышли в семь вечера.

В последнее время Юханнес словно бы переменялся.

Прежде он всегда сам командовал, он ведь был шустрый и пригожий, всеобщий любимчик.

Но теперь. Теперь все было как бы наоборот. Он все больше и больше делался как я. Точно начал срастаться со мной. Ужасно, если подумать.

Я подумал, что мне надо бы сказать ему об этом.

Подул ветер, и мы подняли на плоту парус. Натянули между двумя палками, привязанными шнурами, простыню. Когда порывы ветра становились слишком сильными, а это случалось, нам приходилось самим держать палки.

Ветер дул прямо с берега, с юга, то есть от леса с лужайкой, где Альфильд стала лошадью и ходила на привязи вокруг кола, а они пришли и забрали ее. Оттуда и дул ветер. Я часто спрашиваю себя, мог ли я, то есть мы, поступить иначе. Мы могли бы забрать ее из Браттбюгорда, и от человека-крокодила, и от того, с двумя головами, и того, от которого воняло хуже, чем в свинарнике. Но мы этого не сделали.

Нельзя все время размышлять от этом.

Именно отсюда дул ветер, я потом думал про это. Может показаться, что это не важно, но зачастую оказывается важным. Просто по-настоящему этого не понимаешь. «Сигнал», как Юханнес писал в библиотеке. Он имел в виду, что надо быть внимательным к сигналам.

Солнце светило косо, довольно красиво. Ветром нас относило все дальше.

Той весной я часто вспоминал мертвого младенчика.

Мальчика Эвы-Лисы, стало быть. Когда я уже лежал в кровати и почти засыпал, как раз перед тем, как наступала светлая полночь и приходил капитан Немо, пытаюсь наставить меня на путь истинный, — вот тогда порой казалось, что мертвый младенец, которого я снес в ту ночь к озеру завернутым в «Норран», имеет отношение к жизни других мертворожденных детей. Словно бы это его удушило пуповиной и он получил мое имя или я его. Словно бы это тот же самый младенец.

В ту ночь, когда это случилось, я так не рассуждал. Тогда я сделал только то, что мне велела Эва-Лиса. Но на похоронах, куда Юханнес не осмелился явиться, а я явился, — там мне пришлось передумать, поскольку я же знал, что Эва-Лиса вернется ко мне в этой земной жизни, и Юсефина Марклюд, та, которую я мысленно называл мамой, хотя после обмена пастор запретил мне говорить так, — тут мама посмотрела на меня. Прямо поверх расчищенного, кстати проповедником Форсбергом, места.

И она смотрела и смотрела. И я подумал, что младенец-то, Господи, хотя ничего не сказал. Но младенец-то, Господи. А вдруг ей хотелось младенчика Ээвы-Лисы. Может, ей нравились пригульные. Иначе почему бы она взяла к нам Ээву-Лису.

Но с той самой ночи, когда она вернулась домой из больницы, и автобус остановился, и шофер, это был Марклин, обернулся и спросил, не жалится ли кто над женщиной, — с того раза других детей, кроме пригульных и подменышей, быть не могло. Приблизительно так.

И тогда, на похоронах, она смотрела на меня поверх расчищенного места. И как будто хотела сказать: Я бы позаботилась о бедном мальчике, кабы знала.

Бедном мальчике. Хотя ведь только я знал, что в «Норран» завернут мальчик. Подумать только, может, если бы ей позволили, она бы захотела взять мертвого младенчика.

Когда я подумал об этом, у меня на душе стало почти торжественно. Как в тот раз, когда, развернув газету, я смотрел на него. Почти торжественно.

Капитан Немо сам сказал, когда однажды ночью пришел ко мне, а я спросил, почему же она тогда орала на Ээву-Лису с верхней ступеньки, чтобы та убиралась, со своим спокойным и задумчивым выражением лица, что он вполне понимает ее.

То была не злоба, а любовь.

И он сказал, что хоть и не понимает до конца все мои недоумения, но может понять, почему мне иногда снятся кошмары о мертвом младенчике в «Норран». И как его с широко раскрытыми глазами несет течением подо льдом. Он и сам однажды пережил нечто подобное. На мой вопрос он подробно рассказал о случае, известном мне по книге. Но я, пожалуй, никогда не подозревал, насколько это взволновало капитана Немо.

Он стоял у иллюминатора «Наутилуса» и смотрел, как женщина с ребенком с потопленного им английского фрегата скользила сквозь толщу воды на дно. Они чуть ли не улыбались. Капитан Немо сказал, что знает, какое ужасное чувство при этом возникает. Ведь это он

приказал потопить судно. Ребенка, ему было месяцев шесть, несло глубоководным течением.

И то же случилось с метрвым младенчиком в «Норран»? — спросил я. Да, спокойно ответил капитан Немо. Так и младенчика, наверно, несло течением, подо льдом. Далеко-далеко, к Русскому острову. Он всплывал и опускался вглубь и сквозь воду смотрел на лед, серый снизу. И когда он всплывал — натыкался на лед, как «Наутилус» у Северного полюса, положение, из которого, кстати, капитан Немо вышел с превеликим трудом.

Капитан Немо знал, что при этом чувствуешь.

Так вот бывает с настоящими благодетелями. У них есть опыт.

4

Чего мы ищем, раз за разом спрашивал Юханнес.

Я не отвечал, это было ни к чему.

В тот вечер мы искали вдоль западного побережья острова. Ветер стих, и я отталкивался колом, выдернутым из ограды, которым предусмотрительно запасся.

Я не сказал, что мы ищем. На плоту было тихо.

К утру — темнота так и не наступила, ветер стих около одиннадцати, — ближе к утру я начал замерзать. Здесь, с северной стороны болота, домов не было, дома стояли у Форсена, в Эстре и Вестре, но не здесь. Я чувствовал себя спокойно, не боялся, что нас кто-нибудь увидит, а Свен Хедман решил, конечно, что мы остались ночевать в Мелаоне. Я замерз, но тут и там виднелись сеновалы.

Мы пристали. Я взял коробку с провиантом, но Юханнес ничего не захотел есть, а я не стал его уговаривать. Плот мы привязали.

Потом вошли в сарай.

В глубине валялось слежавшееся сено. Остальное давно увезли. Ни один из нас не мог заснуть. И я решил разобраться с Юханнесом.

Он, сказал я ему, не жалел в жизни ни одного человека. Ни единого, кроме себя самого. Он только и видел,

как мама стоит на верхней ступеньке и орет, но заметил ли он, какое у нее было лицо? Слышал ли он шофера, это был Марклин, когда тот спросил, не может ли кто-нибудь сжалиться? Он видел ее суровость, но не сумел смягчить ее. Думал ли он о чем-то еще, кроме как о том, чтобы показать, как быстро он бегаёт в парусиновых туфлях летом и в валенках с лезвиями зимой, да быть пригожим и всеобщим любимчиком?

И Эва-Лиса.

И я рассказал ему о той ночи в дровяном сарае.

Юханнес зарылся в слежавшееся сено. Мне всегда хотелось иметь брата, с которым можно всем делиться, или кого-то, как Эва-Лиса, чтобы крепко любить, а она бы крепко любила меня, и мы бы весь вечер сидели и разговаривали. А что я получил? — того, кто зарылся лицом в сено и молчал. И Эва-Лиса ушла от меня, правда, чтобы вернуться в этой земной жизни, но она медлила, и единственный, у кого я мог спросить совета, был Благодетель, но не знаю, не знаю. Иногда этого недостаточно.

Я чувствовал, как во мне вскипает гнев. Юханнес зарылся в сено и молчал.

Что это за жизнь, если приходится чувствовать гнев.

По-моему, он заснул.

Я слушал его спокойное дыхание и думал, как было бы здорово, будь это Эва-Лиса. Вот если бы она все-таки родила ребеночка и он бы выжил. Она бы сидела, прижав его к платью с тюльпанами, теми, что росли вверх ногами, гладкими, как кожа, и младенчик бы спал и сопел, совсем здоровенький, а я бы спокойно сидел поблизости и смотрел. Так я представлял себе любовь.

Утром задул ветер с востока, он поднялся внезапно, резкий ветер, так что по воде побежали барашки.

И тогда я принял решение.

Я разбудил Юханнеса, тронув его рукой. Он проснулся мгновенно, точно был на стреме. И улыбнулся мне чуток, словно знал, что я решил, и кивнул, точно все понял.

И сразу сделалось легко. Ты принимаешь решение,

и, значит, ты решился. И выполняешь то, что решил, и мы с Юханнесом пришли к согласию, хотя это было вообще-то страшно трудно.

Мы спустились к берегу. Отвязали плот. Оттолкнули его.

Юханнес сидел впереди, а я стоял сзади и толкался колом. Простыня поднята. Сильно дуло, но болото не очень глубокое, так что кол доставал до дна, мы быстро вышли на открытую воду, несмотря на ночь, светило солнце, но так было, и трудно вспомнить точно, как все было. Неправда, что я принял решение, как бы я в таком случае забыл, как все было? Я помню, как было дело. Прямо перед нами простирался Русский остров. Юханнес босиком стоял на бревнах. Я не говорил ему, чтобы он встал. Волна окатила плот, хоть он хорошо держался на плаву, я одной ногой придерживал коробку Свена Хедмана, чтобы ее не смыло.

На Юханнесе не было ботинок. Бревно стали небось скользкие. Я и не думал отталкиваться колом, кстати, я прекрасно помню, что глубина уже была такая, что я не доставал до дна. Я оттолкнулся колом, бревна были скользкие, Юханнес босиком, он взмахнул руками и упал.

И я хорошо помню его лицо в воде, я видел, до чего ему страшно и стыдно за свою неуклюжесть, он словно бы хотел извиниться. Волны поднимались довольно высоко. Я видел в воде его лицо за секунду до того, как оно скрылось под плотом, и я отчетливо помню, как протянул руку моему лучшему другу Юханнесу, точно собираясь вызволить его из крайней нужды, и как раз в эту секунду его затянуло в водоворот, громадный, как тот, при всемирном потопе, затянувший почти неприкрытых женщин в гигантскую водяную дыру.

Следующее, что я помню, должно быть, случилось много часов спустя.

Я сидел на плоту сзади. Его ветром вынесло на берег. Это был Русский остров.

Я точно знал, какой он из себя, хотя никогда там не бывал. Большинство считали, что он около ста метров в поперечнике и весь покрыт толстыми старыми елями с

неимоверно длинными и мощными ветвями, а лес полон гадюк и мертвых русских. Но никто там не бывал, ни один человек во всей деревне.

И здесь мне предстояло искать. Это находилось здесь.

Юханнес сидел, съжившись, спереди на плоту. Он выбрался из воды. Но он молчал, и я понял, что что-то случилось.

— Юханнес, — сказал я. — Ты ведь не злишься, что я тебя не вытащил.

Наверно, было пасмурно, я помню, что в воздухе висел туман, было не темно, а сумеречно, как бывает иногда пасмурными ночами. Он таки сумел забраться на плот, хотя я этого не хотел.

— Как это ты не утонул, — тихо проговорил я.

Он не ответил. Но минуту спустя встал, спрыгнул на камни и через прибрежные камыши вышел на берег. Странно, но он был в валенках. Я даже сперва подумал, что сплю, но я отчетливо слышал хлюпанье воды, когда он выходил на берег, а во сне звуков не слышишь.

Он направился в глубь острова. Русский остров совсем крошечный, это мы знали. Может, метров сто в поперечнике. Найти его не составит труда.

Самое странное — валенки. Вода в них так и хлюпала, когда он вошел в лес и исчез из виду.

Тогда я еще не знал, что Русский остров намного больше, чем я думал, что он кое-что скрывает и что пройдет сорок пять лет, прежде чем я вновь увижу Юханнеса. Он исчез в глубине острова, которого я так страшился все свое детство, не ведая его настоящего названия и того, что Благодетель однажды приведет меня в самое сердце таинственного острова, где меня будет ждать Юханнес, мой единственный друг. Сейчас я лишь временно освободился. Освободился от него, не подозревая, что я его вечный пленник и много-много позднее разыщу его в библиотеке капитана Немо, в корабле, который находился в заполненном водой кратере вулкана на острове у берегов Ньюланда, где одно только Хьогтбёле отмечено на карте, вычерченной на заплесневелой вощеной бумаге, карте, которая служила указателем моему благодетелю.

Я долго искал его, когда наступил день.

Прежде чем приняться за поиски, я тщательно повторил все заученные мной факты о территории, на которую сейчас вступил. Русский остров совсем крошечный. Там растут столетние ели. Русские солдаты, похороненные тут, пролежали в земле сто пятьдесят лет. На острове полно гадюк. Все это было мне хорошо известно, поэтому я не испытывал ни капельки страха.

Сперва я пересек остров из конца в конец, потом вернулся обратно, потом обошел его кругами, потом вдоль берега. Под елями трава не росла. Земля была местами черная, местами бурая, от старой хвои. Я кружил по острову, выкликая его имя — Юханнес. Кричал и просил, чтобы он откликнулся.

Его нигде не было.

Я вернулся к плоту. Я проголодался и открыл коробку Свена Хедмана, в которой у меня хранился провиант. Меласса была в консервной банке. Я открыл банку и стал есть пальцем.

Я измазал лицо, но умыться и не подумал. На какое-то время я словно обезумел, но потом взял себя в руки. Холода я не чувствовал. Я знал, что Юханнес исчез, он покинул меня на острове, и он тоже. Я поел мелассы. Я покинут.

К вечеру ветер стих, озеро блестело как зеркало. Я был совершенно спокоен, только недоумевал, почему капитан Немо не пришел на мой зов.

Ведь не стал же он похож на Сына Человеческого. Нет-нет, я отбросил эту мысль.

В зеркале воды я видел свое отражение. Это точно я, хотя меласса вокруг рта и на щеках почернела. Мне не хотелось умыться.

Я вновь позвал капитана Немо, на этот раз очень громко, точно потерял терпение или осерчал, но понял, что летом послеполуденное время для него не самое удачное. Днем он небось спит. Зато по ночам становится моим благодетелем; хотя я бы обрадовался, ежели бы он что-нибудь мне посоветовал.

На ели влезть ничего не стоило. Ветви начинались почти с самого низа, толстые, как стволы, похожие на пальцы Бога, толстые и угрожающе растопыренные во все стороны. Я залез на дерево и выбрался на ветку. Божий палец не дрожал. Крепко держась за верхний палец, чтобы не грохнуться, я с удивлением слушал шум дерева. Я сумел продвинуться на три-четыре метра вдоль ветви, и теперь мне было видно далеко.

Две лодки гребли на север. Донеслись слабые крики.

Я сел на ветку и не вставал, пока они не скрылись из виду. Они искали вдоль побережья, пока.

Что мне делать с плотом? Ведь они могут его заметить.

Я слез с ели, вернулся к плоту и спустил простыню. Я шел по воде, но не чувствовал усталости. Меня наполняла сила Божьих пальцев.

Плот я спрятал в камышах. На берег они не сойдут. И плот не найдут.

Облака растворились в светлой дымке, солнце висело низко. Взяв три морских сухаря, я размочил их в воде. Перекусив, я лег на еловую хвою и стал смотреть в небо.

Я попытался свести воедино все случившееся, но безуспешно. Необъяснимо, как мама могла изрыгнуть эту ложь о Юханнесе и Ээве-Лисе там, на лестнице. Будь он здесь, рядом, я бы его утешил. Но он покинул меня. Внезапно на минутку появился капитан Немо, которого я еще раз позвал. Он сказал, что скоро пробьет час. Для чего, спросил я почти нетерпеливо. Взять себя в руки, ответил он. Но для этого тебе надо сперва найти мертвого младенчика.

И он пропал. Ни слова о Юханнесе: словно того никогда и не было.

Я снова забрался на свой наблюдательный пост, на Божий палец на ели. Теперь палец слегка подрагивал, точно Богу было стыдно, что капитан Немо нашел время дать совет, а его сын нет. Солнце висело совсем низко. По озеру шли уже четыре лодки, они держали курс на залив.

Точно коровы. Которые идут домой, в хлев. Я увидел, как они вошли в проливчик и пропали.

Божий палец перестал дрожать. Я размышлял над тем, что сказал мне капитан Немо. Я сидел под деревом. Да будет так.

Наверно, уже наступила полночь, когда я нашел.

Солнце зашло, над озером повис туман.

Я был спокоен и хладнокровен.

Три круга сделал я вдоль берега, прежде чем нашел младенчика. Я оказался прав. Он проплыл подо льдом и застрял на берегу Русского острова. Капитан Немо направлял мои мысли. И все же по большей части я думал сам.

Я его узнал. Сперва его можно было принять за чисто обглоданный щучий скелет. Но когда я подошел поближе, сомнений у меня не осталось. Он зацепился между двумя камнями на берегу, в двух шагах от воды, и был едва заметен. Когда лед сошел, его, очевидно, выбросило наверх. От него остались лишь белые косточки, головка обглодана дочиста. Жуткое зрелище, на первый взгляд. Но он был такой чистый и пригожий, совсем как белая костяная куколка. Я позвал капитана Немо, но он не отозвался. Тогда я наклонился и взял мертвого младенчика Эвы-Лисы в руки.

Ополоснул его в воде.

Потом пошел и принес Свену коробку. Сдвинул колбасу в дальний угол, туда же отправил полбуханки, сухари, лепешки, бутылку с водой и завернутый в бумагу маргарин. Осталось двенадцать кусков сахара. И нож. И закрытая консервная банка с остатками мелассы. Потом я осторожно положил младенчика на освободившееся в коробке место.

И разложил припасы так, чтобы ему было удобно. Потом закрыл коробку и стянул ее ремнем.

Все готово.

Я вытолкнул плот из тайника. Коробку поставил впереди, туда, где сидел Юханнес. И оттолкнул плот. Кол из ограды был моим единственным веслом.

Настроение было торжественное, отталкиваясь колом, я плыл сквозь туман, сохраняя полное спокойствие. Юханнес покинул меня, и я нашел младенчика, и все получилось как надо.

Я пристал к берегу у Тонкого мыса, там, где Санфрид Ренстрём однажды поставил отхожие бочки так близко к воде, что их смыло волной в озеро, и Санфриду Ренстрёму пришлось спускать лодку и выволакивать их обратно на берег, за что потом ему проходу не давали. Сейчас он уже умер. Я взял коробку и оттолкнул плот.

Постоял немного, глядя, как он уплывал все дальше и дальше, пока наконец совсем не скрылся в тумане. Его, конечно, обнаружат. Потом начнут искать нас, но не найдут. После чего плот разобьют, вытащат гвозди и сплавят бревна вниз.

И никто ничего не узнает.

Стало быть, я взял коробку с провиантом и младенчиком, взял за ремень, и направился через лес. Я и думать забыл, что я босой. Идти было не больно. Тропинка мягкая. Сосны пригожие, ласково шумят. Я испытывал радость и благодарность к моему благодетелю, который указал мне путь и дал совет.

Меласса застыла на лице коркой. С коробкой в руке я поднимался в гору, в пещеру мертвых кошек.

2. Пещера мертвых кошек

1

Сегодня ночью разбирал послания Юханнеса из библиотеки капитана Немо.

Он играет с моими именами, будто это поможет. Зачеркнул мое имя, называет меня новым. В третий раз меня меняет.

Стыдно небось.

Сегодня ночью шел снег, быстро сменившийся дождем. Мне не хватает тамошних светлых зимних ночей. Свет зимних ночей не забыть.

И северное сияние. Куда, собственно, все подевалось.

Я побывал в пещере мертвых кошек еще раз, этим маем 1990 года.

Костяная гора на месте, лес тоже, но все было иначе,

не так. Потом поехал обратно в аэропорт. Сделал краткую запись: «Все иное».

Пещера оказалась меньше, словно бы съежилась. Гора ниже. В пещере ничего нет, даже кошачьего скелета, когда-то такого чистенького.

Все съеживается и отдаляется от меня.

Почему все съеживается? Под конец, может, совсем ничего не останется, если я не потороплюсь.

Наверно, надо поторопиться, пока все не съежится и не исчезнет. Это-то, может, и значит — свести воедино.

2

Я прошел с коробкой в руке весь путь до пещеры мертвых кошек, и ни одна живая душа меня не видела.

Время перевалило далеко за полночь, солнце светило прямо в лаз, и в пещере было довольно светло.

Я уселся рядом с кошачьим скелетом, скелетом кошки-девочки. Она сидела совершенно спокойно, прислонившись к стене, задней каменной стене, точно это была колода, к которой можно прислониться.

Считается, что скелеты противные, но на самом деле они довольно пригожие.

Она сидела и глядела на долину. Ее видно из лаза пещеры. Если бы она могла говорить, я бы сказал ей что-нибудь, но со скелетами, понятно, какой разговор. Да и сказать ей особо нечего. И о чем бы я спросил?

Впрочем, о многом.

Я мысленно позвал капитана Немо, но он не откликнулся на мой зов, наверно, был занят. Я подождал чуток. Солнце немного переместилось, я позвал его еще раз, но понял, что придется подождать.

Долина была как всегда, я маленько всплакнул, но потом успокоился. Я видел небольшой кусочек озера, но не Русский остров, и вулкан в его центре, вход в который я позднее отыщу и где покоился «Наутилус», был спокоен. Не дымил. Этим и объясняется, что в деревне никто не понял. Если бы из кратера повалил дым, все

бы, затаив дыхание, ринулись туда, из местной прессы тоже, и об этом бы написали в «Норран».

Я уселся рядом с кошечкой. И тоже прислонился к стене пещеры. Вот так кошечка спит много лет. Это, верно, и значит быть мертвым. Нет ничего проще.

Труднее, пожалуй, воскреснуть. Тут необходим совет.

Я ненадолго заснул.

Никто не явился ко мне во сне. Я вновь позвал Никто, но он, наверно, был занят. Я подумал, что пусть тебе и дадут под дых, но на свете нет ничего непоправимого, я обычно так думал: тогда спокойнее спится и легче взять себя в руки.

Коробку я не открывал.

Когда я проснулся, солнце еще немного передвинулось. Оно было как часы, почти как лунный свет на полу дровяного сарая, который напоминал мне, что время идет. Хотя мне было уже плевать, сколько времени. Сколько-то было. Всегда. Каждый день в одно и то же время оно передразнивало само себя. Приходилось напрыгаться, чтобы помнить, что что-то все же произошло, хотя время так неотличимо.

Хорошо, у меня с собой коробка. Там лежит еда, то есть провиант, который выручит меня в нужде. И то, другое.

Может, его надо вынуть?

Я проснулся, в голове гудело от боли, на минуты две-три я совсем растерялся и поэтому сразу же принялся вспоминать, как построен зеленый дом.

Я, так сказать, проверил весь дом, чтобы он не исчез, когда понадобится мне в нужде. Я представил себе, как иду по дому, как он устроен и обставлен, особенно спальня наверху. Я нашел палочку и начертил план, как бы карту, и указал там, где расположена пожарная лестница под окном спальни, с торца, но перед рябиной, деревом счастья, на котором зимой бывали снег и птицы. Потом вокруг я нарисовал в общих чертах карту Швеции, но так, чтобы дом оказался на нужном месте.

Скоро-скоро все опять пришло в норму. Так часто

бывает, нет ничего непоправимого. Нужно только знать, что делать в ожидании Благодетеля.

После того как я почертил и все опять пришло в норму, мне вновь сделалось нехорошо, но совсем ненадолго.

Я решил не откладывая распаковать коробку.

Кожаный ремень расстегнуть — пустяковое дело, на нем был, естественно, штырек.

Я снял крышку. Теперь надо целесообразно расположить спасенное добро. В беде, учил меня капитан Немо в одной из прежних бесед, правильный и разумный план может спасти жизнь. Поэтому я вынул морские сухари и положил их на сухую ветку, чтобы они остались сухими. Их было сейчас пять штук. Нож лег рядом. Маргарин слева, считая от кошечки, потом лепешки, которые я после минутного колебания тоже положил на сухую ветку, рядом с сухарями. Бутылка с водой. Колбаса. Буханка. Сахар. Рядом с маргарином.

Банка с мелассой, самое для меня драгоценное из спасенного, завершала ряд предметов первой необходимости.

Потом мне опять сделалось нехорошо, но я взял себя в руки и довольно быстро перестал хлюпать носом. Всегда нужно брать себя в руки.

Вопрос только, куда мне посадить мертвого младенчика.

Я повторил про себя, еще раз, те причины, по которым капитан Немо стал иным, чем, к примеру, Сын Человеческий.

У Сына Человеческого в боку рана, откуда истекают кровь и вода, и туда можно заползти. Но он никогда, как капитан Немо, по-настоящему не показал, что на него можно положиться, когда, например, беда стучится в дверь.

В этом я упрекал Сына Человеческого. Говорить прямо не хотелось, но на него нельзя было по-настоящему положиться.

Он как бы слишком о многих должен заботиться. У

меня все время было такое чувство, что, когда тебе хуже некуда, кому-то другому, может, еще хуже.

И тогда тебя покидают.

Сын Человеческий, таким образом, не выдержал испытания. Если ты кого-то покидаешь, например настоящего сквернавца, как же тогда сквернавцы могут ему доверять. Они точно лягушки, вычерпнутые ведром из родника, и некому их защитить.

Это главное различие. С капитаном Немо дело обстояло так, что я все больше и больше начал искать у него спасения в те тяжкие минуты, когда Сын Человеческий был занят другим и не защищал вычерпанных ведром лягушек.

Таковы причины. Я вспомнил все причины и, взвесив их, пришел к выводу, что они очень важные.

Можно было, разумеется, оставить младенчика в коробке Свена Хедмана.

От провианта я ведь ее освободил. И лежал бы он там себе, как на посмертной карточке на комод в горенке, по-своему пригожий. Но поскольку пребывание в пещере мертвых кошек затянется, возможно, надолго, это было бы не совсем справедливо.

Есть разница в том, чтобы быть справедливым и не быть. Такая же разница, как между пригожими и непригожими.

Поэтому я осторожно, голыми руками, вынул младенчика из коробки Свена Хедмана. Он был сухой и хорошенький. Ведь он целую весну провел в озере, а теперь вот высох.

Я отошел к задней стене пещеры и посадил его рядом с кошечкой. Он был чуть ли не меньше ее. Такие оба милые и пригожие, они пустыми глазницами смотрели на долину, где можно было увидеть озеро, но не Русский остров, на котором росли громадные ели, с ветвями толстыми, как Божьи пальцы, теми самыми, что сперва не дрожали, а потом, когда я услышал крики с отправившихся на поиски лодок, задрожали, точно Богу стало страшно.

Над этим стоило чуточку поразмышлять. Никогда прежде я не мог себе представить, что Бог боится, но в

тот раз пальцы задрожали, как на руках Эльмы Маркстрём. У нее были трясучие руки. В общем, можно было подумать, что Бог боится.

Младенчик молчал, кошечка тоже. Что они могли сказать. Во-первых, всегда нелегко найти, что сказать. Во-вторых, они оба мертвые. Но вид у них был не злобный.

Я взял морской сухарь, разломил его, окунул в мелассу и в шутку поднес ко рту кошечки. Она не пошевелилась. Я держал руку неподвижно. Она не попробовала.

Но мертвому младенчику я не осмелился предложить сухарь с мелассой. Съел его сам. Теперь мне было хорошо. Иногда наваливалось то, ужасное, но совсем ненадолго. Потом оно исчезало.

После того как я съел сухарь, стало получше. Теперь у меня всего четыре сухаря.

Будь у меня блокнот и карандаш, я бы составил опись спасенного или написал бы стих, но ни блокнота, ни карандаша у меня не было.

Солнце перестало перемещаться по полу пещеры.

Я сел у входа в пещеру и стал смотреть на долину.

С озера доносились крики. Потом они стихли.

Где-то около полуночи меня навестил капитан Немо.

Я уже заснул и тут услышал шепот, от которого мгновенно проснулся. Кто-то шептал мое имя. Я широко раскрыл глаза, вроде как бы от удивления, но в пещере никого не было. Тогда я внимательно посмотрел на кошечку и на мертвого младенчика рядом; младенец чутко завалился набок, точно хотел привалиться к кошечке. Выглядело это довольно-таки странно.

Мы были одни — они и я. Младенчик как бы входил в семью, ежели подумать, но насчет кошечки у меня подобных мыслей не возникало. Раньше не возникало. Но когда младенец так вот чутко наклонился к ней, сразу возникли. Они как бы сидели и болтали.

И тут я опять услышал шепот, на этот раз погромче. Ошибки быть не могло. Это шептал младенец. Он сказал мне:

— Вали наружу. Он там. Ждет тебя.

— Ты чё, обабдел? — отозвался я.

— Не мели попусту, вали наружу, — повторил младенчик довольно резко.

Я аж онемел. Как-то так вот онемел и почти возмутился, как в тот раз, когда Эгон Бэкстрём заснул в молельном доме и во сне рыгнул, а потом даже и не подумал попросить у Бога прощения в следующую пятницу на собрании Союза молодежи. Я же соображал, что мертвый младенчик не может говорить, потому как, с одной стороны, он мертвый, и давно, а с другой — не выучился говорить, потому что никогда не появлялся на свет.

Значит, я, наверно, чокнулся.

Но не только это совсем сбило меня с толку. Меня больше всего возмутило не то, что он вообще заговорил, хотя это было ему не положено, поскольку он мертвый, а то, что он обращался ко мне так невежливо, чуть ли не грубо. В народной школе нам не разрешали употреблять такие грубые слова, там нас учили выражаться пристойно, но младенчик ведь никогда в школу не ходил.

И тогда я опомнился. Не из-за чего тут беситься. Я же и сам ответил ему не слишком вежливо, не спохватился.

Я долго разглядывал этих двоих, сидевших у каменной стены.

Они молчали. Мое возмущение постепенно улеглось. Но еще долго после того, как возмущение улеглось, я чувствовал, как сильно бьется сердце. Я понял, что мне все это приснилось, во сне он говорил со мной, грубо говорил; мне, стало быть, приснился страшный сон, но я еще не чокнулся.

Я в шутку бросил в младенчика маленький камешек, который попал в цель, и младенчик вздрогнул, как бы упрекая меня, и я тут же пожалел о сделанном.

И только тогда я вспомнил, что он мне сказал. Кто-то ждет меня у лаза в пещеру.

Капитан Немо сидел у пещеры, справа, и сидел там уже давно, это я заметил, потому что, когда он встал, я увидел, что сзади у него мокро от ночной росы.

Я сразу же попросил прощения за задержку, но он движением руки велел мне замолчать.

Уже наступило утро, над долиной висел туман, озера не видать. Его лицо тонуло в тумане и было такого же

цвета. Я почувствовал нечто вроде торжественности, глядя на него.

Он что-то держал в руке.

— Зайди, — пригласил я его, но капитан Немо отрицательно помотал головой. Он только хочет кое-что сообщить мне.

Мы сели на землю.

Он беспокоился обо мне, объяснил он. Спасение задерживается; в обычных случаях он мог бы провести сигнальный провод, следуя за которым я добрался бы до следующего послания, но на это нет времени. Меня в деревне ищут, но ищут не там. Никто ведь не знает о пещере мертвых кошек, кроме нас троих — то есть Юханнеса, капитана Немо и меня самого. И поскольку я сейчас не имею возможности объявиться, важно снабдить меня одеждой и провиантом. Пока еще стоит хорошая погода, сказал он, но лето на исходе, на носу сентябрь, и тогда холод проберет до костей.

Меня надо экипировать.

На какой срок, спросил я. Он не дал мне прямого ответа, а протянул кусок материи, который принес с собой. Материи на платье. Я тогда поинтересовался, каким образом кусок материи уберет меня от холода в те ночи, когда холод пробирает до костей, но он сперва весело рассмеялся, потом опять посерьезнел и велел мне перевернуть материю, чтобы я увидел узор.

Я послушался.

К своему изумлению, я узнал ту самую материю, с тюльпанами, из которой Эва-Лиса когда-то сшила себе платье. Я спросил, откуда у него эта ткань. Мне дала ее Эва-Лиса, ответил капитан Немо. Она знает, где я? — спросил я. Знает, ответил он. А где она сама? — спросил я. Этого я тебе сказать не могу, ответил он, но она передает тебе привет и просит ей верить.

Я завернулся в материю. Капитан Немо мне помог. Мы тщательно проследили, чтобы тюльпаны на материи, накинутой на мои плечи, росли вниз головой.

Я изложил капитану Немо ситуацию в отношении спасенного имущества и припасов, которые у меня еще остались.

Буханка. Морские сухари (4 шт.). Бутылка с водой, маргарин, нож, девять кусочков сахара и банка мелассы, заполненная приблизительно на одну треть. Я перечислил провиант и попросил совета. Он подумал и потом сказал, что мне потребуется его помощь. Следующей ночью он принесет новые припасы, заявил он. До тех пор мне придется питаться собственными запасами.

В карманах его куртки было несколько кусочков сахара и два кровяных хлеба.

Я спросил, где он достал кровяные хлеба: я никогда прежде не видел капитана Немо с такой колбасой. Он на это ничего не ответил, но сказал, что плесень с одного бока колбасы легко соскоблить ножом, вот и нож пригодится. Тогда я спросил, где он собирается найти новые припасы. Он ответил, что в сарае Альфреда Шёггена есть лепешки, а поскольку сарай стоит у опушки леса, он следующей ночью намерен тайком туда пробраться и взять лепешки так, чтобы его никто не заметил.

Ты хочешь украсть! — воскликнул я в ужасе. Нет, ответил он, но ты в большой беде, я — твой благодетель, поэтому я вынужден так действовать.

Надо, чтобы кто-то сжалился над тобой, сказал он. Я согласно кивнул.

А он продолжил: В одну из ближайших ночей я приду к тебе с твоим другом. Который тоже сможет помочь тебе. — С кем? — спросил я, с Эвой-Лисой?

Нет, ответил он. С другим другом. Но теперь хватит задавать вопросы.

Он встал и, вдруг что-то вспомнив, сунул руку в карман. И передал мне блокнот и карандаш.

Отдал мне их и ушел. Сзади у него по-прежнему было мокро.

Я вошел в пещеру, закутанный в ткань с тюльпанами. Младенчик и кошечка спокойно спали.

Я улегся на пол, закутанный в тюльпаны. Мне снился Благодетель и друг, который следующей ночью, или в одну из ближайших ночей, по словам моего благодетеля, придет меня навестить.

Рано утром я вышел из пещеры и направился к спиленной лосиной башне.

Настил самой платформы и поручень вдоль нее были сброшены на землю и частично поломаны: никто сюда не приходил, чтобы починить или собрать дерево. Я зорко следил за долиной внизу. Кто-то, крошечный и черный, шел по двору Сельстедтов. А на озере ни одной лодки, тихо.

Это, наверно, Унгве идет по двору Сельстедтов, подумал я. Потом принялся размышлять, могло ли это что-то означать. Но это ничего не означало. Я понял, что в той беде, в которой я оказался, как потерпевший кораблекрушение, то, что раньше что-то значило, больше уже не значит ничего. Я понял, что мне надо откинуть когда-то значимое, потому что ситуация изменилась.

Я принялся отдирать однодюймовые доски. Построено было на совесть, и мне пришлось потрудиться.

Мысль о том, что здесь, наверху, когда-то бывали Эва-Лиса и Враг, возникла сама собой. Там-то и началось само несчастье. А потом мне стало ясно, что узнать, где, собственно, начинается несчастье, нельзя. Может, это случилось намного раньше, например, когда нас обменяли, или когда мама пыталась вычерпать ведром лягушек, или... Да мало ли когда. Поэтому лосиная башня виновата не больше, чем что-то другое.

Мне удалось отодрать с десятков досок, гвозди я заколотил камнем. После, в два приема, я отнес добычу в пещеру мертвых кошек.

И соорудил настил для спанья.

Получилось вроде как кровать из досок. Досок с рухнувшей лосиной башни.

Младенчик смотрел, как я работаю, и на его белом, как кость, лице играла легкая улыбка. Если бы я мог прочесть его мысли. Он же не знал, откуда доски, и какое они имели значение, не только в моей жизни, но и в его.

Если бы у него было имя.

Я посадил его поровнее, он не возражал.

С одной ножки, похожей на птичью и, в отличие от остального скелета, не белой, у него еще свисали водоросли. В ночные часы он, как мне казалось, был более беспокойный, чем днем.

Однажды младенчик вроде бы пропал, то есть покинул место возле кошечки. Тогда я вышел из пещеры и позвал его. Он не откликнулся. Когда я вернулся обратно, он снова сидел возле кошечки, но с какой-то странной улыбкой на губах.

Про блокнот, последний подарок капитана Немо, я до этого момента и не вспоминал.

Я открыл блокнот и, к своему удивлению, обнаружил там стих, записанный размашистым почерком и, очевидно, плотницким карандашом. Можно сказать, поэму.

Вот что там было написано:

*Огниво с кремнем
Бочка морских сухарей
Несколько книг, бумага, чернила и ручка
Два топора, две пилы, два рубанка, пара железных
прутов,
молоток, гвозди и немало других инструментов
Два полных костюма
Две дюжины рубах
Два ружья, две сабли, два охотничьих ножа и пара
пистолетов
Немного пороху и четверть фунта дроби
Бинокль
Рулон парусины.*

Онемев, я смотрел на эти строки. Почерк был мне незнаком, но я сразу сообразил, что дал мне капитан Немо.

Это был блокнот, в котором писал свои стихи мой папа — до того как умер.

Он записывал их плотницким карандашом. Потом папа умер, когда мне было всего полгода, и мама вернулась в зеленый дом из больницы поздно вечером, и шофер, это был Марклин, повернулся и спросил, как насчет того, чтобы сжалиться.

А я-то думал, что блокнот сожгли. Оказывается, нет.

Папа составил опись спасенных вещей. И попросил капитана Немо передать блокнот мне.

Я понял. У меня в голове не укладывалось, что он уже тогда, когда я был совсем крохой и меня еще даже не обменяли, знал, что со мной случится.

Он написал стих с описью спасенных вещей своему сыну. Теперь капитан Немо мне его принес. И когда я понял, что папа меня не покинул, во мне что-то перевернулось, и я начал хлюпать носом.

Я знал точно, что́ это значит. Это папины стихи. Он написал их мне.

Назавтра я проснулся рано от крика.

Капитан Немо стоял у входа в пещеру и делал мне рукой знаки, веля выйти. Он принес лепешки и овчинную полость. Я смекнул, что ему удалось незамеченным проникнуть в сарай.

Я горячо поблагодарил своего благодетеля, но он остановил меня движением руки и тут же исчез.

Я снова лег. Но мне показалось, прежде чем я заснул, что младенчик — или кошечка — слабо пискнул. Но они вроде бы никак не изменились и смотрели прямо перед собой.

Я смочил им губы мелассой, но губы у них не шевельнулись, и они ничего не сказали.

Больше никаких звуков. Доски защищали от холода. Я расстелил полость на своем деревянном ложе.

Уснул, и спал без снов.

4

С верхушки сосны я увидел, что у Сельстедтов начали косить.

Вот уже несколько ночей капитан Немо не приходит. Мертвый младенчик сидит, не шевелясь, и похоже, не хочет меня знать.

Что я тебе сделал, спрашивал я вновь и вновь. Нам же надо держаться вместе.

Он не отвечал.

Один стих, написанный плотницким карандашом, я все-таки проглядел. Тот, что был на последней странице.

Я быстро пробежал его, но ничего не понял. Потом я увидел, что как раз эту страницу Юханнес включил в библиотеку капитана Немо.

Стих был довольно плохой. Главным образом, о любви. Четыре строчки, рифмованные.

Мне стало жутко больно. Опись спасенных вещей он ведь написал мне, чтобы подарить мне стих, который поможет в крайней нужде. Но стих на последней странице, кстати довольно плохой, он написал маме в зеленом доме.

Сама она утверждала, что писать стихи грешно, и говорила, что сожгла блокнот. Ни к чему папе, наверно, решила она, гореть в аду из-за нескольких строчек стихов.

Больно было от того, что он написал ей. И хотя это был довольно плохой стих, пусть и рифмованный, я понял: мы в ней видели двух разных людей.

Теперь-то уже поздно пересматривать. Часто слишком поздно сводишь воедино. Зачем капитан Немо вообще принес этот блокнот с последней страницей, если он причиняет такую боль. Стоит лишь подумать об этом, и делаешься точно бешеный.

Мертвый младенец Эвы-Лисы смотрел прямо перед собой, отказываясь отвечать, когда я читал ему вслух стих.

«Мы лежим с тобой не шевелясь». Мы? Чокнуться можно, стоит лишь себе представить это.

Опись спасенных вещей в блокноте я понимал. Но с этим вот намного труднее. Он, должно быть, написал это маме в зеленом доме.

Потому что больше писать ведь было некому. Я попытался представить себе их такими, какими он их описывал, когда им было, наверно, по двадцать пять, но ничего не вышло.

В голове запела боль. Когда в голове начинает петь боль, ты как бы приходишь в отчаяние. Та, о которой он пишет, и та, что стояла на лестнице, крича на Эву-Лису, должно быть, один и тот же человек. Если это так,

значит, ни я, ни Юханнес, ни Эва-Лиса никогда, собственно, ее не понимали.

Я хочу сказать: мы покинули ее. И не послушались Марклина в автобусе, когда он обернулся. Это над ней надо было сжалиться. Не надо мной.

Капитан Немо дал мне блокнот со стихами. Их написал папа, чтобы помочь мне в беде. Зачем же тогда тут этот последний стих, тот, от которого в моей голове поет боль?

Младенчик улыбался. Я сделался точно бешеный и вылил немножко мелассы в оба его глаза.

Я мог определить время суток, но забыл, что нужно считать дни.

С верхушки сосны можно было насчитать до двадцати шести скирд у Сельстедтов.

Мне становилось все труднее и труднее выносить слова и шепот младенчика и кошечки.

Они сидели с невозмутимым видом, но много чего говорили, между собой. Я рассказал об этом капитану Немо, который пришел следующей ночью.

Он сделал вид, будто не понимает, но передал мне еще четыре кровяных хлебца, которые достал в погребке Хюго Хедмана, и литр молока, которое тайком надоил прошлой ночью. Я спросил его, почему так легко спать и так тяжело бодрствовать, но он не ответил.

Днем было хуже всего. Ночами мне снилось, что я птица, запертая между зимней и летней рамами, и, когда просыпался, я дрожал от холода.

У тебя температура, с беспокойством сказал капитан Немо.

Я дал мертвому младенчику немножко молока. Он чуточку приоткрыл рот, и капельку попало внутрь, но в основном все пролилось мимо. Я понял, что он мне благодарен, потому что в эту ночь он ничего не шептал.

Что ты имеешь против меня, спросил я резко. Я все-все сделал для Эвы-Лисы. И она покинула меня, пообещав воскреснуть на этом свете, но пока она еще не пришла. Что у тебя за мать.

Резко, как Библия, говорил я с ним. А он просто сидел и глазел пустыми глазами, полными мелассы. Тогда я перешел на шепот. Миленький, сказал я ласковым голосом, так было жутко спускаться с тобой, завернутым в «Норран», к озеру, и из твоей мамы кровь лилась ручьем, мне надо было бы привести Свена Хедмана, а на похоронах на меня со всех сторон зыркали глазами, точно это я прикончил девчонку, то есть мамку твою, но, миленький, это она ведь велела мне завернуть тебя в «Норран».

Младенчик только улыбался. Пожалуй, он пытался, перед самим собой и передо мной, простить то, что произошло. Со мной, или с ней, или с мамой из зеленого дома.

Хотя ни слова о том, кто предал.

Я отчистил ему глазницы от мелассы с помощью материи с тюльпанами.

Когда мертвый младенчик и кошечка молчали, а капитан Немо был благодетелем для других, делалось так тихо, что начинала звучать песня боли.

Эва-Лиса ведь обещала воскреснуть. Когда становилось особенно тихо, то есть тише обычного, я сидел и надеялся на воскресение Эвы-Лисы.

5

Я проснулся оттого, что кто-то тронул меня за руку.

Это был капитан Немо. Рядом с ним стояла мама из зеленого дома.

Ну и видик у тебя, сказала она приветливо. Это меласса, ответил я. Возьми мыло и умойся, сказала она. Как ты меня нашла, спросил я, но она и не подумала объяснить.

У нее были странные глаза, добрые-добрые. Я пришла сюда, чтобы признаться тебе в одном грехе, который меня страшно тяготит и за который я хочу попросить прощения, сказала она. Это за Эву-Лису, спросил я. Чокнулся ты, что ли, ответила она почти резко. Нет,

но я сожалею, что у тебя никогда не было кошки. Наша нагадила на плиту, и я сильно осерчала. Теперь я принесла тебе кошку, пусть у тебя будет кошка, пока ты в большой беде. Ты принесла кошку, совсем растерявшись, сказал я и поспешно добавил: Ну, с плитой-то понятное дело.

Я жалею, что обменяла тебя, чуток, сказала она как бы походя. Юханнес ведь, собственно, никогда и не существовал, сказала она чуть ли не торжественно. Ну да, ответил я, естественно. Да, сказала она, но хуже всего то, что у тебя никогда не было кошки.

Я кивнул. Коли наша первая кошка нагадила на плиту, так это понятное дело. Миленький, какой же ты пригожий, сказала она, теперь, когда я призналась тебе в своем грехе.

На ней было платье с тюльпанами Ээвы-Лисы. Очень странно, ведь я лежал закутанный в такой же ситец, но мы оба посчитали, что тут не о чем языком чесать.

Вот тебе кошка-разбойница. Это Ээва-Лиса. Она воскресла. А чё ты так взбеленилась на Ээву-Лису, спросил я осторожно. Да вот детки устроили заговор, и я осталась совсем одна, сказала она строго. Больше чем прежде, и никто не сжалился над одинокой женщиной. Ясное дело, сказал я. Это Ээва-Лиса?

Ага, ответила она, и голос прозвучал ласково. Она воскресла.

Мама из зеленого дома оглядела пещеру, посмотрела на мертвого младенчика и кошечку, кинула взгляд на провиант и утвердительно кивнула.

И потом они ушли. Капитан Немо не произнес ни единого слова. Но кошку они оставили.

Сразу было видно, что это Ээва-Лиса, хотя пришлось отчасти привыкать.

У нее были такие же красивые черные раскосые глаза, что и прежде, и черная шубка, только вот отошчала она сильно. Как ты, Ээва-Лиса, спросил я. Ничего, ответила она. Тебе понадобилось много времени, сказал я. Но я была довольно далеко, сказала она. Жуткая ночь тогда выдалась, сказал я, но я отнес младенчика в «Нор-

ран» к озеру, а теперь вот принес его обратно, сюда. Я знаю, ответила она, всегда нужно приносить обратно.

Она такая умная.

Я снял с себя материю с тюльпанами, росшими вниз головой, и осторожно укутал ее. Поспи, сказал я, а потом расскажешь, как все было. И ты тоже, сказала она, а что, я и правда должна поспать? Обязательно, сказал я. Хорошо, что ты не попала лисе в лапы. Да, хотя иногда было тяжело, сказала она. У меня есть молоко, сказал я, завтра получишь. А сейчас спи.

Я положил ее на сгиб руки носом внутрь. Какая она красивая и милая. Надо же, ты все-таки сумела воскреснуть. М-м-м, сказала она.

Она заснула почти мгновенно. Я гладил ее поверх ткани с тюльпанами. Точно как я представлял себе, в тот раз, когда у меня не хватило духу.

Шестнадцать дней мы прожили с ней вместе, все время вели беседы. Так, как это и должно было быть. Именно так, как я всегда представлял себе любовь. Как мы сидим и беседуем, и я время от времени провожу рукой по ткани с тюльпанами, и она мне улыбается.

Шестнадцать дней мы провели вместе, и я мог говорить, что хотел. Самое странное, что, несмотря на это, мне так и не удалось свести все воедино. Говоришь, как оно есть на самом деле, и это хорошо. А воедино не сводится. Вообще-то это можно сделать, только изучив сперва библиотеку капитана Немо и узнав, какими словами это выразить. Сперва ты это просто говоришь. Потом проходит долгая жизнь, ты уезжаешь далеко-далеко, многим причиняешь горе, и тебе причиняют немало горя. И вот тогда ты начинаешь сводить воедино.

Но шестнадцать дней вместе с Эзвой-Лисой в пещере мертвых кошек — это было все-таки начало. Мне кажется, поэтому она и воскресла и вернулась ко мне.

А в последнюю ночь — я не знал, что она последняя, но она была последней — она сказала мне то, о чем я потом много думал. Я уходила, прошептала она, уткнувшись носом в сгиб моего локтя, укутанная в ткань с тюльпанами, как мы всегда сидели, но вернулась. Потом я опять покину тебя. И ты должен молчать, несколько

лет, и думать. Ты сперва не верил, что можно умереть, а потом воскреснуть в этой земной жизни. Но ты ведь видишь, что это возможно. Самое ужасное начнется теперь. Именно теперь ты станешь взрослым. Но ты должен свести воедино. Если ты этого не сделаешь, значит, и моя жизнь, и моя смерть, и мое воскресение не имели никакого смысла.

Что мне надо свести воедино, спросил я. Это ты поймешь, сказала она. Человеку дают под дых, но на свете нет ничего непоправимого. Я вернулась, чтобы сказать тебе это. Но что мне надо свести воедино, повторил я.

У нее были черные раскосые глаза и красивая шубка. И она вернулась. Прошло много лет, прежде чем я понял, что она мне ответила. Так уж бывает с теми, кто воскресает. Требуется много времени, чтобы понять, что они говорят и почему вернулись.

И она рассказала, как оно было. А я ничего не понял. И тогда она снова свернулась клубочком на сгибе моего локтя, выставив нос наружу.

И сколько бы я ни искал в библиотеке капитана Немо, я никогда, никогда не найду того, что открыло бы мне, что же воскресшая Эва-Лиса рассказала мне в ту ночь. Этого записать нельзя, как я понял. Можно только свести воедино.

Они обнаружили меня 21 августа 1945 года.

Думаю, заметили разок капитана Немо, который тайком добывал мне провиант, и смекнули. За мной пришли трое мужчин, и что тут особо скажешь. Я почти не сопротивлялся, только сказал, что хочу забрать с собой мелассу и провиант, и младенчика тоже, а кошечку можно оставить.

Тогда они надели на меня теплый свитер, собрали провиант, наверно, пришли в замешательство, увидев младенчика, но все-таки завернули его в газету, это снова была «Норран», и прихватили с собой.

После чего мы покинули пещеру мертвых кошек.

Доски с лосиной башни остались.

Эва-Лиса выскользнула наружу, когда они появились у входа в пещеру. Они не пытались ее поймать, а я

промолчал. Она скрылась в лесу, сначала вернулась, как обещала, а теперь исчезла в лесу моего детства.

Я знаю, что лиса — зверь опасный и ей придется нелегко, но я знаю, что она справится.

Они привели меня в зеленый дом, прежде чем отправить в заведение.

Мама встретила нас в дверях и взяла меня за правую руку, и глаза у нее опять были пригожие. Взяла меня за руку и повела в спальню, где уложила на кровать. Вот тут и поспи немножко, сказала она. После того как они ушли, она встала у окна, и хотя старалась сдержаться, но я услышал, что она плачет.

Тогда я поднялся и взял ее за руку. Так мы стояли какое-то время и глядели на долину: поверх рябины, зарослей шиповника и родника с лягушками. Я крепко держал ее за руку, чтобы она не печалилась. И она не отняла руку, и так мы и стояли, потом она отвела меня к кровати, присела на краешек и смотрела на меня, пока мы ждали, когда я засну.

Я ничего не говорил, она тоже. Но нам больше не надо было ничего говорить, потому что мы все уже сказали в тот раз, когда она навестила меня в пещере. Я простил ее за давний случай с кошкой, а она простила меня за то, что я не сжалился над ней, и мы все поняли.

И было так, как должно было быть.

ЭПИЛОГ

(Отправные точки)

Если бы врага не существовало, его надо было бы создать.

Я молчал четыре года и два месяца, пока меня наблюдали, и пытался свести воедино. Не то чтобы мне нечего было им сказать, как они считали. Но я размышлял.

Потом я выздоровел, по их словам. Но хоть они и думали, будто я болен, что неверно, я и не выздоровел, потому что не сумел свести воедино.

Опись спасенных вещей в блокноте дала мне возможность понять, с чего надо начинать. Я нашел ее, после всех этих лет, в библиотеке капитана Немо.

Скоро я закончу обследовать библиотеку.

Не всю, этого мне не успеть. Но я свел все воедино и пытался додумать до конца.

Мне это не под силу, я знаю. Но иногда я мечтаю, поскольку прошло так много лет с того времени, когда все это случилось, втайне, с радостью мечтаю, чтобы это было бы и в самом деле возможно: не только попытаться свести все воедино, пытаться-то я пытаюсь, это точно, но чтобы мне это удалось. И в конце концов получить возможность написать: вот как все было, вот так обстояло дело, вот и вся история.

Проснулся в 3.45, сон о пещере мертвых кошек до сих пор перед глазами. Провел невольно пальцем по лицу, по коже щеки.

Был совсем рядом с ответом.

Встал.

Там над водой висел странный утренний туман, мрак рассеялся, оставив парящее серое покрывало, не белое, а как бы с отблеском темноты; оно висело в нескольких метрах над поверхностью воды — блестящей и совершенно неподвижной, как ртуть. Птицы спали, ввинтившись в самих себя и в свои сны. А верно ли, что птицы видят сны? Туман висел так низко, что открывал взору лишь воду и птиц, только черную неподвижную поверхность воды, беспредельное море. Я мог вообразить, что нахожусь на краю земли и впереди — ничего.

На краю. И птицы, ввинтившиеся в свои сны.

Внезапно движение: взлетела птица. Я не слышал звука, только видел, как она била крыльями по воде, вырвалась, взлетела наискось ввысь: это произошло внезапно, и так легко, невесомо. Я видел, как она поднималась все выше и выше, к серому потолку тумана, и пропала. И не услышал не единого звука.

Я подождал, но больше ничего, абсолютно ничего. Может, так вот и с ней было в ту ночь в дровяном сарае, где она сидела, привалившись к колоде. Мне так кажется. Во все не так жутко, как в тот раз, когда она меня покинула.

Просто как птица, которая взлетает все выше, и внезапно исчезает, и возвращается, как стрелка часов, но изменившаяся, хотя не внешне.

Он записывает на полях слова-коды, теперь я запросто могу расшифровать большинство.

«Посмертная карточка. Он вдруг видит самого себя».

«Сигнал».

Заклинания я в конце концов принял, то есть понял, что они есть. Когда понимаешь, что это закливания, их легче выносить.

«После его смерти в его кармане нашли блокнот со стихами, которые он написал от руки, карандашом. Это было удивительно, лесорубы там, на севере, пожалуй, не так уж часто писали стихи.

Блокнот немедленно сожгли.

Я не знаю почему. Но быть может, потому, что стихи считались грехом, искусство считалось чем-то грехов-

ным, он пал, и в таком случае лучше всего сжечь. Но мне иногда бывает любопытно, что там было написано.

Итак: сожгли, и стихов как не бывало. Так никогда и не отосланное послание. Иногда мне кажется — то, что я сам пытался сделать, отчасти должно восприниматься как попытка реконструкции сожженного блокнота».

Не реконструкция: заклинания.

Может, я вовсе и не молчал, пока находился в заведении.

Но я ничего не говорил.

Они нашли множество объяснений моему поведению за те годы, что я находился в заведении.

Под конец они, по-моему, поллюбили меня. Объяснений было множество, и я со всеми соглашался, чтобы заставить их считать меня пригожим.

Я молчал, но оживленно говорил. О пожаре я никогда не упоминал. Но это совершенно естественно. Ведь те, кто не понимает, что лягушек надо защищать, что Благодетель играет на небесной арфе, когда Сын Человеческий делает вид, будто у него больше нет времени, что человек может воскреснуть в этой земной жизни и что рябина — дерево счастья, на котором зимой бывают снег и птицы, приводят тебя в полное отчаяние.

Все в общем-то просто. Хотя на то, чтобы сделать это простым, ушло много времени.

Юханнес, конечно, не воскрес.

Дело в том, что, если кто-то никогда не существовал, он не может и умереть, а следовательно, и воскреснуть. Он был мой лучший друг. Я хотел быть таким, как он, хотя он стал предателем.

Это я пытался объяснить тем, кто смотрел за мной в заведении. Но ничего они не поняли.

Они принесли мне кошку, потому что думали, будто я страшно люблю кошек: я буду нести за нее ответственность и это укрепит мой характер во время пребывания в заведении.

Смешно. С другой стороны, это было как раз вовремя. И они ведь не знали, что Эва-Лиса убежала в лес моего детства, где она вполне справляется, и ждет.

Я открыл краны водяных баков и сошел в лодку. Все огни на «Наутилусе» были зажжены. Там, в библиотеке, на кухонном диванчике лежит Юханнес, вид у него пригожий, он мертв.

Воскреснуть — это ведь человек сам сделать не может, да еще в этой земной жизни. Пожалуй, именно это я под конец понял. Проще простого. Но кто сказал, что должно быть просто.

Стены пещеры Франклина медленно бледнели по мере того, как судно погружалось. Я сидел в алюминиевой лодке и был абсолютно спокоен. «Наутилус» медленно погружался в черную воду, свет становился все слабее и слабее, потом осталось лишь бледное трепетание, похожее на северное сияние, и все исчезло.

Я выгреб из пещеры, я свободен. Мне предстояло вернуться на волю, свободным.

Свен Хедман однажды навестил меня в заведении.

Мне кажется, он любил меня. Он сказал, что нам надо было лучше заботиться об Альфильд, когда она стала лошадь. Я ничего не ответил, но в конце концов мы пришли к согласию.

Уходя, он похлопал меня по морде, точно я тоже был лошадь.

Мне следовало бы лучше заботиться и о Свене Хедмане.

Юсефина, мама из зеленого дома, навестила меня один-единственный раз, перед смертью.

Ей было трудно говорить, но она придет еще, сказала она, чего-то она не понимает. Она вроде бы как впала в отчаяние. Но мне казалось, что нет никаких причин впасть в отчаяние. Ведь Эва-Лиса ко мне вернулась. И хотя они считали, что она тогда улизнула из пещеры и скрылась в лесу, она осталась со мной.

Все очень просто, если только как следует подумать.

Юсефина выглядела постаревшей, когда уходила. Но

все-таки каким-то образом еще сохраняла красоту, хотя была постаревшая и грустная.

Она не понимает, сказала она. Но кто сказал, что можно понять. Понять нельзя, но кем бы мы были, если б не пытались.

Ночь сегодня ясная. Светят звезды, но северного сияния не видно.

Куда оно делось?

Вот как все было, вот так обстояло дело, вот и вся история.

Пер Улов Энквист
БИБЛИОТЕКА КАПИТАНА НЕМО

ИБ № 6520

Редактор *М. Семченкова*
Художник *Н. Емельянова*
Художественный редактор *Т. Иващенко*
Технический редактор *Е. Макарова*
Корректор *В. Лебедева*

Сдано в набор 13.09.93. Подписано в печать 23.09.94.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Условн. печ. л. 10,08. Уч.-изд. л. 8,86.
Тираж 5000 экз. Заказ № 893. Изд. № 8076.

Лицензия ЛР № 020846 от 23 декабря 1993 г.
А/О Издательство «Радуга»
121839, Москва, пер. Сивцев Вражек, 43.

Отпечатано с оригинал-макета способом фотоофсет на Можайском полиграфкомбинате Комитета Российской Федерации по печати.
143200, Можайск, ул. Мира, 93.

серия "Новое имя"



«Библиотека капитана Немо», новый роман крупнейшего писателя современной Швеции П. У. Энквиста, даст читателю богатую пищу для напряженной работы ума и эмоционально насыщенного размышления о драматических коллизиях человеческого существования.

Судьба главного героя книги совершает причудливые извивы: в детстве он подружился с соседским мальчиком, появившимся на свет в тот же день, что и он, в той же больнице. Однако это совпадение оказалось роковым: выясняется, что младенцев перепутали. Суд выносит решение поменять мальчиков, которым уже исполнилось по шесть лет, вернуть их истинным родителям... Герой словно бы умер, лишившись всего в одночасье: дома, матери, друга. Радость и тепло, казалось, навсегда ушли из его жизни. Но сохраняются светлые минуты прожитого, любимый капитан Немо, глубоко запавший в душу с детства, помогает ему выжить и постепенно прийти к выводу, что сущность человека не проста, противоречива, добро и зло неслучайны, они взаимообусловлены. Такой и надо принимать жизнь.

На страницах книги Энквиста неоднократно повторяется вопрос — что есть человек? Палач, жертва, предатель?

Можно ли однозначно и всеисчерпывающе ответить на него?